

МАСТЕРА ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

СОЗВУЧИЯ
СТИХИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ

23-24



МАСТЕРА ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

МАСТЕРА ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА



М А С Т Е Р А П О Э Т И Ч Е

Под редакцией

Е. М. Винокурова, Л. В. Гинзбурга,

Р. Ф. Казаковой, А. А. Клышко,

А. А. Михайлова, Б. А. Слуцкого,

В. Н. Соколова, Е. М. Солоновича,

А. А. Суркова

Выпуск 23 — 24

МОСКВА

С К О Г О П Е Р Е В О Д А

СОЗВУЧИЯ

СТИХИ

ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ

В ПЕРЕВОДЕ

**Иннокентия
Анненского
Федора
Сологуба**

СОСТАВЛЕНИЕ, ПРЕДИСЛОВИЕ

И ПРИМЕЧАНИЯ

А. В. ФЕДОРОВА

РЕДАКТОРЫ

Р. И. ВИНОНЕН

Л. В. НОВОГРУДСКАЯ

© Составление, предисловие, примечания
издательство «Прогресс», 1979

С $\frac{70404-253}{006(01)-79}$ 140-78

ДВА ПОЭТА

(ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ И ФЕДОР СОЛОГУБ
КАК ПЕРЕВОДЧИКИ ПОЭЗИИ)

I

Два поэта, мастерство которых как переводчиков представлено этим сборником, были современники, люди одного поколения. Оба они сыграли важную роль в становлении той новой русской поэзии, которая возникла на рубеже двух столетий, и оба вписали яркие страницы в историю стихотворного перевода. Это искусство в течение XX века прошло в нашей стране сложный и славный путь, расширяя свои эстетические возможности и решая все новые задачи, преодолевая разнообразие трудности и непрерывно совершенствуясь. Переводческие удачи наших современников опираются, конечно, на опыт прошлого, на сделанное предшественниками, в том числе Анненским и Сологубом, а не перечеркивают этот опыт: ведь подлинное создание искусства, даже являясь звеньями в общей цепи художественного развития, сохраняют свою жизненность и после того, как на их основе возникают новые достижения. Переводы же и Анненского и Сологуба принадлежат к истинным произведениям этого высокого искусства и продолжают жить, выдерживая сравнение с новыми превосходными работами переводчиков наших дней. В переводах Анненского представлены к тому же и такие стихотворения отдельных авторов, к которым больше никто из русских поэтов после него не обращался.

Анненский и Сологуб — большие мастера поэтического слова и знатоки русской речи, умеющие извлекать из ее богатств слова, способные воплощать ёмкие, много говорящие или много подразумевающие образы. Оба поэта часто — особенно Анненский — обращаются к источнику живой современной разговорной речи, также к речи народной и просторечью и с их помощью вводят в свои стихи образы окружающей их житейской повседневности, то сливающиеся воедино с содержанием лирической пьесы, то трагически или иронически контрастирующие с другими ее мотивами.

Если сравнивать Анненского с Сологубом, то у первого можно, пожалуй, констатировать и большее пристрастие к подобным средствам, и большее разнообразие в их выборе, вместе с тем и большую мягкость окраски, которую они придают человеческим образам его, Анненского, лирики.

Анненского и Сологуба роднит также и общий характер отношения к слову, типичный, впрочем, и для других их современников — представителей новой поэзии начала XX века. Ее бесспорным завоеванием, перешедшим и в нашу поэзию советской эпохи, было необыкновенное обогащение звуковой стороны стиха и вместе с тем расширение и углубление смысловых возможностей слова, искусство сочетать, а иногда и сталкивать слова так, чтобы они говорили много больше, чем совокупность прямых значений каждого из них, чтобы поэтическое целое не только позволяло иносказательное истолкование, но и допускало несколько осмыслений, иногда параллельных друг другу, иногда пересекающихся, чтобы оно, даже оставляя впечатление чего-то смутного, недоговоренного, будило фантазию и эмоции читателя, вызывало вопросы, требовало досказать недосказанное или разгадать мимолетный намек. О своих требованиях к поэтической речи Анненский в последней из написанных им статей говорил так: «Мне вовсе не надо обязательности одного и общего понимания. Напротив, я считаю достоинством лирической пьесы, если ее можно понять двумя или более способами или, недопоняв, лишь почувствовать ее и потом доделывать мысленно самому»*. А несколько далее он формулирует свой идеал поэзии: «Слова открыты, прозрачны; слова не только текут, но и светятся»**

Поэтическая практика Сологуба подтверждает такое же отношение к слову и стиху. Стилистические принципы двух поэтов были во многом близки. Недаром Анненский высоко ценил искусство Сологуба, его власть над словом.

Но еще замечательнее оценка поэтического мастерства Сологуба, данная в частном письме к нему М. Горьким. «Я, — писал он, — отношусь отрицательно к идеям, которые вы проповедуете, но у меня

* И. Анненский. О современном лиризме. — «Аполлон», 1909, № 1, с. 17.

** Там же, с. 22.

есть известное чувство почтения к вам как поэту; я считаю вашу книгу «Пламенный круг» образцовой по форме и часто рекомендую ее начинающим писателям как глубоко поучительную с этой стороны»*.

Насколько не случайной была эта оценка, свидетельствует другое письмо А. М. Горького, посланное С. Н. Сергееву-Ценскому почти два десятилетия спустя, а именно 30 декабря 1927 года: «...помер Сологуб, прекрасный поэт; его «Пламенный круг» — книга удивительная, и — надолго»**.

Эти важнейшие черты оригинального творчества двух поэтов имеют прямое отношение и к их искусству как переводчиков, в котором они непосредственно и отразились. Само обращение их к переводу иностранной поэзии было вполне закономерным фактом: в поэзии своих западноевропейских предшественников они искали двоякой опоры — и того, что было им созвучно и близко, и того, что в их собственной лирике отсутствовало или только намечалось. Но отношение к иноязычной поэзии у каждого из них сложилось по-своему, по-особому.

II

Иннокентий Федорович Анненский (1856—1909) был при жизни как поэт известен мало: он выпустил один небольшой сборник стихотворений («Тихие песни», под псевдонимом Ник. Т — о, 1904), включающий и целый отдел переводов западноевропейской лирики (под заглавием «Парнасцы и проклятые»); знали его больше как ученого, филолога-классика и переводчика трагедий Еврипида, отчасти как критика, издавшего два сборника ярко оригинальных статей о русских и западноевропейских писателях. Большая часть его поэтического наследия была издана посмертно — в двух, тоже небольших сборниках стихов («Кипарисовый ларец», 1910; «Посмертные стихи», 1923). Книга его избранных стихотворений вышла в

* М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 30, м., 1955, с. 57.

** С. Н. Сергеев-Ценский. Собр. соч., т. IV. Моя переписка и знакомство с А. М. Горьким. Изд-во «Правда», 1967.

1939 году, а в 1959 году были изданы его «Стихотворения и трагедии», где полностью представлено его зрелое творчество как лирика и драматурга (в оба издания вошли переводы). Читателю наших дней, любящему поэзию, имя Анненского хорошо знакомо, а современным литературоведением его деятельность оценена как значительное и прогрессивное явление русской поэзии начала XX века*.

Поэтические переводы в творчестве Анненского играют важную роль по своим художественным достоинствам и по характеру связи с его собственными произведениями. В начале девяностых годов XIX века он приступил к огромному труду, ставшему делом всей его жизни, — к переводу всех трагедий Еврипида, который ему почти удалось довести до конца. В период с 1900 по 1906 год Анненский написал четыре трагедии на сюжеты античных мифов («Меланиппа-философ», «Царь Иксион», «Лаодамия», «Фамира-кифарэд»); они отнюдь не подражание Еврипиду, не стилизация, но в них, несомненно, звучит отклик на многие мотивы древнегреческого трагика, воспринятые, правда, в высшей степени самостоятельно и преломленные через художественное сознание современного человека. Работа переводчика, таким образом, предшествовала созданию собственной драматургии.

С девяностых же годов XIX века, по-видимому (а может быть, даже раньше), Анненский переводит и лирику. Вот внешне пестрый, казалось бы, круг поэтов, к которым он обращается: это, прежде всего, французы второй половины XIX века, так называемые парнасцы (Леконт де Лиль, Сюлли Прюдом) и «проклятые» (Бодлер, Рембо, Верлен, Корбьер, Роллинá и др.), те, которых переводили, знакомя с ними читателя, и другие современники Анненского; далее, величайшие немецкие лирики Гёте и Гейне, знаменитый американский поэт Лонгфелло, а из античных лириков Гораций.

* Подробнее см.: В. О. Перцов. Реализм и модернистские течения в русской литературе начала XX века. — «Вопросы литературы», 1957, № 2; А. В. Федоров. Поэтическое творчество И. Анненского. — В кн.: И. Анненский. Стихотворения и трагедии. «Библиотека поэта», большая серия. Л., 1959; П. П. Громов. А. Блок, его предшественники и современники. Л., 1966; Л. Я. Гинзбург. О лирике. Изд. 2-е. Л., 1974 (глава «Вещный мир»).

Выбор произведений, переведенных Анненским, определяется в большинстве случаев тематической и эмоциональной близостью к его поэзии. Недаром Еврипид был для него не только последним великим трагиком античного мира, но также поэтом близким и почти современным, выразителем тех же тревог, какие переживал он сам. То же касается и Гёте, и Гейне, и Лонгфелло, но в особенности поэтов французских, которые Анненскому были исключительно дороги и будили у него глубокие отзвуки. «Биенье тревожное жизни» (если воспользоваться строкой из переведенной им лирической пьесы Лонгфелло) — вот то общее, вокруг чего объединяются избранные им оригиналы. Эта общая черта — «биенье тревожное жизни» — сказывалась не только в выборе мотивов и образов, по большей части связанных с теневыми сторонами жизни, не только в общей эмоциональной окраске стихотворений, но и в недоговоренности, недосказанности многого, вытекающей из огромной насыщенности поэтического слова чувством и мыслью. И это касается не только немецких лириков первой половины XIX века, не только французских поэтов-импрессионистов, «проклятых», нередко обрывавших или круто поворачивавших ход своих мыслей и создававших подчеркнуто ёмкие и сложные, иронические гротескные образы, не рассчитанные на логическую расшифровку и нарочито таящие в себе вопрос, но также и парнасцев, — при всем том, что они славились точностью слова, выпуклой и зримой наглядностью созданных ими картин. Однако и за величественными изображениями природы дальних стран, и за героическими фигурами сильных и цельных людей давних времен возникал особый смысловой план недоговоренного морального обобщения или невысказанного противопоставления героического прошлого, с одной стороны, и современности и повседневности — с другой.

Когда говорят «Парнас», «парнасцы», может возникнуть картина безмятежной и бесстрастной поэзии, рисующей светлые античные храмы, мраморные статуи, солнечные пейзажи древнего мира, воспевающей гармоническую красоту, чуждой людских страстей, требующей служения «чистому искусству» и безразличия к существующим общественным порядкам. Ничего не может быть примитивнее такого представления. Уход на позиции «чистого искусства» для Леконт де Лиля и его соратников по «Парнасу» был отнюдь не путем к примирению с действительностью, к благополучному приятию су-

ществующих порядков, а, напротив, результатом крайне отрицательного отношения к ним, формой протеста против них. Но нежелание служить интересам существующего государственного строя, презрение к нему приводили парнасцев, так же и Флобера, к отрицанию общественной роли искусства и вызывали уход в «башню из слоновой кости» — к историческим и экзотическим темам. При этом, однако, историю и экзотику глава парнасской школы во многих своих стихотворениях нисколько не идеализировал, с жестокой правдивостью умел он показывать бесчеловечность и изуверство нравов прошлого (как в стихотворении «Огненная жертва»). Во всей его поэзии царит дух неуспокоенности. Иногда он отказывался и от своей аполитичности: так, на события франко-прусской войны и Коммуны поэт отозвался стихотворением «Вечер после битвы», где, предав проклятию войну с ее неисчислимыми бедствиями, он благословляет любые жертвы, приносимые во имя свободы. И тогда же он написал анонимно выпущенный «Республиканский народный катехизис», вызвавший бурю возмущения у версальского правительства.

Поэзия «проклятых» тоже полна глубокого социального пессимизма. Но позиция их по отношению к окружающей действительности была иной. Двое из них в молодости принимали активное участие в больших революционных событиях своего времени: Шарль Бодлер сражался на парижских баррикадах в 1848 году и основал революционную газету; Артюр Рембо сражался как стрелок в рядах коммунаров 1871 года. Оба они всю жизнь тяжело переживали крушение своих надежд на переустройство общества. Поль Верлен тоже был причастен к Коммуне: занимая скромную должность чиновника в Парижской ратуше, он остался на этом посту в героические месяцы Коммуны, служа ее делу как сотрудник бюро печати. А в своем творчестве и они, и их соратники разных поколений в отличие от парнасцев не стремились уйти от современности и повседневности, они не закрывали на нее глаза, высмеивали ее, напоминали о ней грубыми и резкими образами своих стихов, отражали ее в зеркале гротеска, прямо высказывали ей свое презрение. Их протест направлен против рутины в искусстве и в быту, против штампов «красивости» и лицемерной благопристойности, против многообразных проявлений мещанства. «Столпы буржуазного общества во Франции не без основания были встревожены. В угрюмом противопоставлении «бедных» «богатым» они почуяли такое страст-

ное проклятие жизни, такой больной стон ее, который не мог не смутить покоя собственников»*.

Для Анненского парнасцы, и в первую очередь Леконт де Лиль, имели, в общем, большее значение, чем «проклятые» (за исключением Верлена). Но самый факт обращения Анненского к поэзии «проклятых» говорит о многом. Переводы их стихов были в своем роде вызовом, бросаемым в лицо «высокой», жреческой поэзии русских символистов, их увлечению мистикой, это был и неожиданно крутой поворот в сторону грубого, резкого, иногда и гротескного образа, требовавшего разговорности, а то и фамильярности в выборе слов и оборотов.

Как и все большие поэты, Анненский переводил по влечению сердца. Но если создание «русского Еврипида» он считал своим жизненным делом, своим культурным долгом филолога-классика перед русским читателем и публиковал исподволь переводы тех или иных трагедий, то лирику он долгое время переводил только для себя, пока не включил часть переводов в сборник «Тихие песни». Переводы в его рукописях перемежаются с оригинальными стихотворениями. В составе «Тихих песен» он расположил их не по авторам, а в особом порядке, часто обусловленном соответствиями между мотивами отдельных стихотворений разных поэтов: рядом помещены «Погребение проклятого поэта» Бодлера и стихотворение Леконт де Лиля «Над умершим поэтом», «Богема» Рембо и «Богема» Роллинá.

Принципы перевода у Анненского специфичны. Его переводы лирики очень часто отходят от подлинника слишком далеко с нашей современной точки зрения. У Анненского были свои взгляды на перевод, изложенные в специальной статье, отрывок из которой дается в приложении к этой книге. Поэт предостерегает здесь и против лексически точного, но сухого, вымученного перевода, и против увлечения музыкой стиха, которое может грозить переводу «фантастичностью». Ради передачи художественного целого и того впечатления, которое оно производит, он согласен на значительные отступления от смысловой точности, считая задачей для переводчика лирического стихотворения «соблюсти меру в субъективизме».

* В. О. Перцов. Реализм и модернистские течения в русской литературе начала XX века. — «Вопросы литературы», 1957, № 2, с. 55—56.

Само понятие этой «меры в субъективизме», конечно, весьма относительно. Переводя, Анненский многое опускает, многое вносит от себя, одни особенности подлинника усиливает, даже утрирует, другие ослабляет, и переводы его образуют как бы часть собственного творчества на материале иностранных литератур. И тем не менее они ценны именно как переводы и представляют существенную страницу в истории русского стихотворного перевода.

Это стало возможным благодаря удивительному проникновению поэта в переводимый подлинник: то, что Анненский берет из иноязычного стихотворения — отдельные образы, контрастные соединения слов, ряды повторений, — всегда специфично для оригинала, а благодаря глубокой заинтересованности поэта-переводчика все это и на русском языке сохраняет свою остроту и действенность.

При этом неотъемлемой частью системы поэтического перевода у Анненского становится столь присущее ему как лирику умение недоговаривать, обрывать или внезапно поворачивать линию речи и стиха, а тем самым вместе с автором оригинала задавать читателю вопрос, заставлять работать его фантазию в поисках отгадки, приводить в движение его эмоции, иногда бросать насмешливые отсветы на слова и образы, иногда придавать им трагический многоплановый смысл. Анненский в лирических переводах выхватывает порою лишь отдельные характерные черты подлинника и на них сосредоточивает внимание, воспроизводя их верно, а все остальное передает, уже опираясь на них, создавая фон, на котором выделяются более красочные пятна.

Опыт Анненского — при всем субъективном своеобразии преломления оригиналов, при всей русификации некоторых из них — важный этап в развитии русского поэтического перевода. Переводы Анненского, представляющие собой замечательное явление русской поэзии, открывали в то же время пути к новому постижению иноязычных оригиналов, давая художественное знание о них. При этом плодотворнейшее значение имела созвучность между русским и иностранными поэтами.

Но перевод также позволяет поэту выйти за пределы обычного круга его творческих средств и, более того, за пределы привычного внутреннего мира, он дает ему возможность говорить от лица других авторов, часто созвучных ему в той или иной степени, иногда и непохожих на него. А в иных случаях перевод вызывает пере-

ключение на совсем иной эмоциональный тон. Сами оригиналы нередко требуют отказа от той сдержанности, которая присуща собственным, даже наиболее трагическим стихам самого Анненского, заставляют его говорить более полным и громким голосом, не вуалировать трагические положения, давать сгущенные краски, быть более страстным. Так обстоит дело в его переводах из Бодлера, Леконт де Лиля (например, «Пускай избитый зверь...»), Верлена («Я устал и бороться, и жить, и страдать»). Не случайно А. Блок в своей небольшой рецензии на «Тихие песни», оценивая в них раздел переводов, подчеркнул «способность переводчика вселяться в душу разнообразных переживаний» и несколькими строками далее отметил: «Разнообразен и умен также выбор поэтов и стихов — рядом с гейневским «Двойником», переданным сильно, — легкий, играющий стиль Горация и смешное стихотворение «Сушеная селедка» (из Ш. Кро)»*.

Переводы Анненского, запечатлевшие широту и разнообразие его литературных интересов и вкусов, отразили и все своеобразие его поэтической индивидуальности, которая выступила в них как параллель и к трагическому искусству парнасцев, и к иронически противоречивой поэзии «проклятых», и к лирическим созданиям немецких поэтов. При всей прихотливости того отражения, которое оригиналы получили в переводах Анненского, оно внутренне правдиво.

III

Федор Сологуб (Федор Кузьмич Тетерников, 1863—1927) пользовался в 1900-х и 1910-х годах громкой известностью и как лирик, и как драматург, и как автор романов, и как переводчик поэзии; он выпустил в свет длинный ряд книг, в том числе два много томных собрания сочинений, сотрудничал в многочисленных изданиях.

В начале 1920-х годов он еще выпустил несколько сборников лирики и много занимался переводами поэзии. Посмертно был пере-

* А. Блок. Собр. соч., т. X. Изд-во писателей в Ленинграде, 1935, с. 287. Надо напомнить, что для Блока Анненский, скрывшийся за псевдонимом Ник. Т — о, был мало еще знакомый автор.

издан его знаменитый сатирический роман «Мелкий бес», в формах жестокого гротеска бичующий мир русского обывателя эпохи реакции, в 1939 году выпущена книжка стихотворений, куда вошла небольшая (правда, самая яркая) часть его поэтического наследия*, а недавно вышло и большое собрание его стихов, включающее и часть переводов**.

В историю русской переводной поэзии Сологуб тоже вошел как мастер — и прежде всего благодаря своей работе над лирикой Поля Верлена. Сборник его переводов под заглавием «Поля Верлен. Стихи, избранные и переведенные Федором Сологубом» вышел в 1908 году как «седьмая книга стихов» русского поэта и в значительно расширенном виде был переиздан в 1923 году. Верлен был не единственный автор, чьи стихи Сологуб передавал на русском языке; переводил он стихотворения Виктора Гюго, Леконт де Лиля, Артюра Рембо (некоторые из них еще не опубликованы), стихи армянских поэтов (средневекового Наапета Кучака и современного Ваана Териана), вошедшие в знаменитую антологию «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней под редакцией В. Брюсова» (1916), а позднее — венгерского поэта-революционера Шандора Петёфи, немецких поэтов-экспрессионистов и осуществил перевод «Кобзаря» Т. Шевченко, вышедший в свет отдельным изданием уже после смерти Сологуба. Но вершиной, шедевром переводческой деятельности Сологуба стал именно его верленовский сборник.

В истории русской поэзии имя Сологуба осталось тесно связанным с именем французского лирика, а успех его переводов из Верлена прочно запомнился. Маленький сборничек, появившийся в 1908 году, был встречен критиками исключительно благожелательно и оценен как триумф искусства поэтического перевода. «Осуществленным чудом» назвал переводы Сологуба из Верлена М. Волошин. (Его отзыв см. в Приложении.) Высокая оценка, которую переводам Сологуба дали также Брюсов и Анненский, тем внушительнее, что

* Федор Сологуб. Стихотворения. «Библиотека поэта», малая серия. Л., 1939.

** Федор Сологуб. Стихотворения. «Библиотека поэта», большая серия. Л., 1975. Во вступительной статье М. И. Дикман «Поэтическое творчество Федора Сологуба» сообщается много неизвестных ранее фактов биографии писателя и дается объективное и всестороннее освещение его поэзии.

оба они тоже переводили Верлена. Брюсов в предуведомлении «От переводчика», открывающем собою сборник Верлена в его переводе, перечислив имеющиеся на русском языке переводы французского поэта, отдал предпочтение перед всеми другими переводам Сологуба, «которому, — как пишет Брюсов, — удалось некоторые стихи Верлена в буквальном смысле слова пересоздать на другом языке, так что они кажутся оригинальными произведениями русского поэта, оставаясь очень близкими к французскому подлиннику»*. Анненский в оценке Сологуба-переводчика сдержаннее, но между одним из стихотворений Верлена и одной оригинальной вещью Сологуба он устанавливает неожиданную связь образов, говорящую о скрытой созвучности двух поэтов (см. Приложение).

В предисловии к первому изданию своего сборника переводов из Верлена Сологуб сделал признание: «Я переводил Верлена, ничем внешним к тому не побуждаемый. Переводил потому, что любил его. А любил я в нем то, что представляется мне в нем наиболее чистым проявлением того, что я назвал бы мистической иронией»**.

Та ирония, которая в представлении Сологуба и образует существо поэзии Верлена, есть совмещение противоположностей, примирение противоречий в некоем особом единстве. Писавшие о Верлене неоднократно отмечали противоречивость и вместе с тем гармоничность его творчества.

Важнейшие свойства лирики Верлена — это величайшая искренность в выражении каждого чувства и самой их смены: от переживаний радостных и светлых до самых тревожных и трагических; мятежность — и рядом с ней тихое примирение с судьбой; подлинная простота (в выборе слов и оборотов, в строе предложения) — и в то же время исключительная изысканность формы и изобретательность, проявляющаяся порой и в применении редких слов, неологизмов, непривычных построений; абсолютная, казалось бы, ясность — и вместе с тем многозначность смысла; сосредоточенность поэта на своем внутреннем мире — и в то же время полная доступность этого мира для всех впечатлений окружающей жизни. Отсюда —

* Поль Верлен. Собрание стихов в переводе Валерия Брюсова. М., 1911, с. 7—8.

** Поль Верлен. Стихи, избранные и переведенные Федором Сологубом. СПб., 1908, с. 7.

широкое разнообразие тем и мотивов поэзии Верлена, прошедшей в своем развитии целый ряд этапов, которые запечатлелись в разных сборниках его стихов с их характерными заглавиями (как их передает Сологуб): «Поэмы сатурналий», «Любезные праздники», «Добрая песня» и другие.

Каждый из сборников замечателен по-своему. Но вершиной верленовской лирики явилась книга «Романсы без слов» с провозглашенным и господствующим там принципом власти звука в стихе, музыкальности, не подчиняющей и не устранивающей, конечно, смыслового содержания, а организующей его по-своему, придающей ему то особую прозрачность, то зыбкость и загадочность, то новую эмоциональную глубину. Этот принцип «музыка прежде всего» был потом декларирован поэтом в знаменитом стихотворении «Поэтическое искусство» (не переведенном Сологубом).

Выбор, осуществленный Сологубом-переводчиком, и богат, и разнообразен: Верлен представлен в обоих изданиях сборника (из которых второе пополнено 16 стихотворениями и многочисленными вариантами) характерными для него вещами, позволяющими русскому читателю и узнать и полюбить знаменитого французского лирика. Надо также подчеркнуть и другое, не менее важное обстоятельство: переводя Верлена «по любви», Сологуб не ищет в его стихах каких-либо прямых соответствий своему собственному кругу тем и настроений, часто мрачных и трагических, — нет, напротив, он здесь выходит в другой поэтический мир — светлый, широкий и жизне-радостный. Поэтический мир Верлена для Сологуба в своем роде та «избранная даль», о которой говорится в первом стихе сонета «Лунный свет», нечто родственное и обаятельное, но отделенное от поэта как бы некоторым расстоянием и требующее от него быть не совсем таким, каков он в своих собственных стихах. Вместе с тем в мастерстве Сологуба оказывается много такого, что чрезвычайно близко поэзии Верлена с ее властью звука, с ее строгой и изысканной простотой, а порой и причудливостью: в выборе слов, словосочетаний, ритмов, в колебаниях смысловых оттенков, вызываемых то повторениями, то противопоставлениями слов, то установлением между ними неожиданных связей, с контрастным и тесным сближением между поэтическим и разговорным словарем. Как примеры особенно плодотворного слияния поэтической манеры переводчика с манерой Верлена можно назвать стихотворения «Осен-

ня песнь», «Песня наивных», «Серенада» («Поэмы сатурналий»), «Лунный свет» («Любезные праздники»), «Ночной луною...» («Добрая песня»), «В слезах моя душа...», «В полях кругом...», «Бедный молодой пастух» («Романсы без слов»), «Послушай нежной песни лепет...» («Мудрость»), «Вот осень наступила...» («Песня для нее»). Особенно удались Сологубу песенные формы Верлена с повторениями и вариациями некоторых строк или с ярко выраженной инструментальной. Такие формы и в его поэзии представлены богато.

К своей работе над переводами Сологуб относился как взыскательный и уравновешенный мастер, упорно ищущий наилучшего решения трудных задач. Об этом свидетельствуют и многочисленные варианты отдельных переводов, которые во втором издании сборника Верлена он выделил в особое приложение (в первом издании они давались сразу же вслед за основным текстом, но их там было меньше). Тем самым он частично приоткрывал для читателя свою лабораторию переводчика-поэта — случай, не часто встречающийся и тем более поучительный. Некоторые переводы даются в трех-четырёх вариантах, причем словесно-образные расхождения между ними порой значительны. Это позволяет читателю представить себе оригинал как бы с нескольких точек, в разных перспективах, увидеть то, что совпадает, и сравнить на фоне этого общего различия.

Сочетание всех этих бегло очерченных особенностей переводов Сологуба из Верлена определяет высокую степень их художественной объективности, позволяющей читателю получить достоверное знание о совершенстве оригинала. В этом ценность и поучительность примера Сологуба-переводчика не только для своего времени, но и для нас.

Соединение в одной книге переводов Иннокентия Анненского и переводов Федора Сологуба, представленных верленовским сборником, — не случайно. Те и другие связывают не какие-либо внешние черты сходства в выборе оригиналов или их трактовке, а общая двум русским поэтам созвучность творчеству переводимых лириков, иногда и самые поиски этой созвучности.

А. Федоров

БИЕНЫЕ ТРЕВОЖНОЕ ЖИЗНИ

Стихи

зарубежных поэтов

в переводе

ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО

ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ

Шарль Бодлер

(1821 — 1867)

ИСКУПЛЕНИЕ

Вы, ангел радости, когда-нибудь страдали?
Тоска, унынье, стыд терзали вашу грудь?
И ночью бледный страх... хоть раз когда-нибудь
Сжимал ли сердце вам в тисках холодной стали?
Вы, ангел радости, когда-нибудь страдали?

Вы, ангел кротости, знакомы с тайной злостью?
С отравой жгучих слез и яростью без сил?
К вам приводила ночь немая из могил
Мечь, эту черную назойливую гостью?
Вы, ангел кротости, знакомы с тайной злостью?

Вас, ангел свежести, томила лихорадка?
Вам летним вечером, на солнце, у больницы,
В глаза бросались ли те пятна желтых лиц,
Где синих губ дрожит мучительная складка?
Вас, ангел свежести, томила лихорадка?

Вы, ангел прелести, теряли счет морщинам?
Угрозы старости уж леденили вас?
Там в нежной глубине влюбленно-синих глаз
Вы не читали снисхождения к сединам?
Вы, ангел прелести, теряли счет морщинам?

О ангел счастья, и радости, и света!
Бальзама нежных ласк и пламени ланит
Я не прошу у вас, как зябнущий Давид...
Но, если можете, молитесь за поэта
Вы, ангел счастья, и радости, и света!

ПРИВИДЕНИЕ

Ядом взора золотого
Отравлю я сон алькова,
Над тобой немую тьму
Я крылами разойму.

Черным косам в час свиданья —
Холод лунного лобзанья,
Руки нежные твои —
В кольца цепкие змеи.

А заря зазеленеет,
Ложе ласк обледенеет,
Где твой мертвый гость лежал,

И, еще полна любовью,
Прислоненный к изголовью,
Ты увидишь там — кинжал.

СОВЫ

Зеницей нацелясь багровой,
Рядами на черных березах,
Как идолы, старые совы
Застыли в мечтательных позах.

И с места не тронется птица,
Покуда, аллея, могила
Не примет останков светила
И мрак над землей не сгустится.

А людям пример их — наука,
Что двигаться лишняя мука,
Что горшее зло — суета,

Что, если гоняться за тенью
Кого и заставит мечта,
Безумца карает — *Движение*.

ПОГРЕБЕНИЕ ПРОКЛЯТОГО ПОЭТА

Если тело твое христиане,
Сострада, земле предадут,
Это будет в полном тумане,
Там, где сорные травы растут.
И когда на немую путину
Выйдут частые звезды дремать,
Там раскинет паук паутину
И змеенышей выведет мать.
По ночам над твоей головою
Не смолкать и волчиному вою.
Будет ведьму там голод долить,
Будут вопли ее раздаваться,
Старичонки в страстях извиваться,
А воришки добычу делить.

СТАРЫЙ КОЛОКОЛ

Я знаю сладкий яд, когда мгновенья тают
И пламя синее узор из дыма вьет,
А тени прошлого так тихо пролетают
Под вальс томительный, что вьюга им поет.

О, я не тот, увы! над кем бессильны годы,
Чье горло медное хранит могучий вой
И, рассекая им безмолвие природы,
Тревожит сон бойцов, как старьй часовой.

В моей груди давно есть трещина, я знаю,
И если мрак меня порой не усыпит
И песни нежные слагать я начинаю —

Всё, насмерть раненный, там будто кто хрипит,
Гора кровавая над ним все вырастает,
А он в сознаньи и недвижно умирает.

СПЛИН

Бывают дни — с землею точно спаян,
Так низок свод небесный, так тяжел,
Тоска в груди проснулась, как хозяин,
И бледный день встает, с похмелья зол,

И целый мир для нас одна темница,
Где лишь мечта надломленным крылом
О грязный свод упрямо хочет биться,
Как нетопырь, в усердии слепом.

Тюремщик — дождь гигантского размера
Задумал нас решеткой окружить,
И пауков народ немой и серый
Под черепа к нам перебрался жить...

И вдруг удар сорвался как безумный, —
Колокола завывли и гудят,
И к облакам проклятья их летят
Ватагой злобною и шумной.

И вот... без музыки за серой пеленой
Ряды задвигались... Надежда унывает,
И над ее поникшей головой
Свой черный флаг Мученье развевает...

СЛЕПЫЕ

О, созерцай, душа: весь ужас жизни тут
Разыгран куклами, но в настоящей драме.
Они, как бледные лунатики, идут
И целят в пустоту померкшими шарами.

И странно: впадины, где искры жизни нет,
Всегда глядят вверх, и будто не проронит
Луча небесного внимательный лорнет,
Иль и раздумие слепцу чела не клонит?

А мне, когда их та ж сегодня, что вчера,
Молчанья вечного печальная сестра,
Немая ночь ведет по нашим стогнам шумным

С их похотливою и наглой суетой,
Мне крикнуть хочется — безумному безумным:
«Что может дать, слепцы, вам этот свод пустой?»

Леконт де Лиль
(1818 — 1894)

СМЕРТЬ СИГУРДА

Сигурда больше нет, Сигурда покрывает
От ног до головы из шерсти тяжкий плат,
И хладен исполин среди своих палат,
Но кровь горячая палаты заливает.

И тут же, на земле, подруги трех царей:
И безутешная вдова его Гудруна,
И с пленною женой кочующего гунна
Царица дряхлая норманнских рыбаблей.

И, к телу хладному героя припадая,
Осиротевшие мнутуются и вопют,
Но сух и воспален Брингильды тяжкий взгляд,
И на мятущихся глядит она, немая.

Вот косы черные на плечи отвела
Герборга пленная и молвит: «О царица,
Горька печаль твоя, но с нашей не сравнится:
Еще ребенком я измучена была...

Огни костров лицо мое лизали,
И трупы братние у вражеских стремян
При мне кровавый след вели среди полян,
А свевы черепа их к седлам привязали.

Рабыней горькою я шесть ужасных лет
У свева чистила кровавые доспехи:
На мне горят еще господские утехи —
Рубцы его кнута и цепи подлый след».

Герборга кончила. И слышен плач норманнки:
«Увы! Тоска моя больней твоих оков...
Нет, не узреть очам норманнских берегов,
Чужбина горькая пожрет мои останки.

Давно ли сыновей шум моря веселил...
Чуть закипит прибой, как ветер, встрепенутся,
Но кос моих седых уста их не коснутся,
И моет трупы их морей соленый ил...

О жены! Я стара, а в ком моя опора?
В дугу свело меня, и ропот сердца стих...
И внуки нежные — мозг из костей моих —
Не усладят — увы! — слабеющего взора»...

Умолкла старая. И властною рукой
Брингильда тяжкий плат с почившего срывает.
И десять уст она багровых открывает,
И стана гордого чарующий покой.

Пускай насытят взор тоскующей царицы
Те десять пылких ран, те жаркие пути,
Которыми душе Сигурдовой уйти
Судил кинжал его сокрытого убийцы.

И, трижды возопив, усопшего зовет
Гудруна. «Горе мне, — взывает, — бесталанной,
Возьми меня с собой в могилу, мой желанный,
Тебя ли, голубь мой, любовь переживет?

Когда на брачный пир, стыдливую, в уборе
Из камней радужных Гудруну привели,
Какой безумный день мы вместе провели...
Смеясь твердила я: «О! С ним не страшно горе!»

Был долог дивный день, но вечер не погас —
Вернулся бранный конь, измученный и в мыле,
Слоями кровь и грязь бока ему покрыли,
И слезы падали из помутневших глаз.

А я ему: «Скажи, зачем один из сечи
Ушел, без короля?» Но грузно он упал
И спутанным хвостом печально замахал,
И стон почудился тогда мне человеческий.

Но Гаген подошел, с усмешкой говоря:
«Царица, ворон твой, с орлом когда-то схожий,
Тебе прийти велел на горестное ложе,
Где волки лижут кровь убитого царя».

— «О будь же проклят ты! И, если уцелею,
Ты мне преступною заплатишь головой...
А вы, безумные, покиньте тяжкий вой,
Что значит *ваша* скорбь пред мукою *моею*?»

Но в гневе крикнула Брингильда: «Все молчать!
Чего вы хнычете, болтливые созданья?
Когда бы волю я дала теперь рыданию,
Как мыши за стеной, вы стали бы пищать...»

Гудруна! К королю терзалась я любовью,
Но только ты ему казалась хороша,
И злобою с тех пор горит во мне душа,
И десять ран ее залить не могут кровью...

Убить разлучницу я не жалела — знай!
Но он бы плакать стал над мертвою подругой.
Так лучше будь теперь покинутой супругой,
Терзайся, но живи, старей и проклинай!»

Тут из-под платья нож Брингильда вынимает,
Немым от ужаса расталкивает жен,
И десять раз клинок ей в горло погружен,
На франка падает она и — умирает.

* * *

Над синим мраком ночи длинной
Не властны горние огни,
Но белы скаты и долина.
— «Не плачь, не плачь, моя Кристина,
Дитя мое, усни».

— «Завален глыбой ледяною,
Во сне меня ласкает он.
Родная, сжался надо мною.
Отраден лунною порою
Большому сердцу стон».

И мать легла — одна девица,
Очаг, дымя, давно погас.
Уж полночь бьет. Кристине мнится,
Что у порога гость стучится.
— «Откуда в поздний час?»

— «О, отвори мне поскорее
И до зари побудь со мной.
Из-под креста и мавзолея
Несу к тебе, моя лилея,
Я саван ледяной».

Уста сливались, и лобзанья,
Как вечность долгие, росли,
Рождая жаркие желанья.
Но близко время расставанья.
Пегуший крик вдали.

ДОЧЬ ЭМИРА

Умолк в тумане золотистом,
Кудрявый сад, и птичьим свистом
Он до зари не зазвучит;
Певуний утомили хоры,
И солнца луч, лаская взоры,
Струею тонкой им журчит.

Уж на лимонные леса
Теплом дохнули небеса.
Невнятный шепот пробегает
Меж белых роз, и на газон
Сквозная тень и мирный сон
С ветвей поникших упадет.

За кисеею сень чертога
Царевну охраняла строго,
Но от завистливых очей
Эмир таить не видел нужды
Те звезды ясные очей,
Которым слезы мира чужды.

Аишу-дочь эмир ласкал,
Но в сад душистый выпускал
Лишь в час, когда закат кровавый
Холмов вершины золотит,
А над Кордовой среброглавой
Уж тень вечерняя лежит.

И вот от мирты до жасмина
Однажды ходит дочь Эддина,
Она то розовую ножку
В густых запутает цветах,
То туфлю скинет на дорожку,
И смех сверкает на устах.

Но в чашу розовых кустов
Спустилась ночь... как шум листов,
Зовет Аишу голос нежный,
Дрожа, назад она глядит:
Пред ней, в одежде белоснежной
И бледный, юноша стоит.

Он статен был, как Гавриил,
Когда пророка возводил
К седьмому небу. Как сиянье,
Клубились светлые власы,
И чисто было обаянье
Его божественной красы.

В восторге дева замирает:
«О гость, чело твое играет,
И глаз лучиста глубина;
Скажи свои мне имена.
Халиф ли ты? И где царишь?
Иль в сонме ангелов паришь?»

И ей с улыбкой — гость высокий:
«Я — царский сын, иду с востока,
Где на соломе свет узрел...
Но миром я теперь владею,
И, если хочешь быть моею,
Я царство дам тебе в удел».

— «О, быть с тобою — сон любимый,
Но как без крыльев улетим мы?
Отец сады свои хранит:
Он их стеной обгородил,
Железом стену усадил,
И стража верная не спит».

— «Дитя, любовь сильнее стали:
Куда орлы не возлетали,
Трудом любовь проложит след,
И для нее преграды нет.
Что не любовь — то суета,
То сном рожденная мечта».

И вот во мраке пропадают
Дворцы, и тени сада тают.
Вокруг поля. Они вдвоем.
Но долог путь, тяжел подъем...
И камни в кожу ей впились,
И кровью ноги облились.

— «О, видит бог: тебя люблю я,
И боль, и жажду — все стерплю я...
Но далеко ль идти нам, милый?
Боюсь — меня покинут силы».
И вырос дом — черней земли,
Жених ей говорит: «Пришли.

Дитя, перед тобой ловец
Открытых истине сердец.
И ты — моя! Зачем тревога?
Смотри — для брачного чертога
Рубины крови я сберег
И слез алмазы для серег;

Твои глаза и сердце снова
Меня увидят, и всегда
Среди сиянья неземного
Мы будем вместе... Там...» — «О, да», —
Ему сказала дочь эмира —
И в келье умерла для мира.

* * *

Пускай избитый зверь, влачась на цепочке,
Покорно топчет ваш презренный макадам,
Сердечных ран своих на суд ваш не отдам,
Принарядивши их в рифмованные строчки.

Чтоб оживить на миг огонь заплывших глаз,
Чтоб смех ваш вымолить, добиться сожаленья,
Я ризы светлые стыда и вдохновенья
Пред вами раздирать не стану напоказ.

В цепях молчания, в заброшенной могиле
Мне легче будет стать забвенной горстью пыли,
Чем вдохновением и мукой торговать.

Мне даже дальний гул восторгов ваших жуток, —
Ужель заставите меня вы танцевать
Средь размалеванных шутов и проститутток?

ПОСЛЕДНЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Глаза открыты и не видят... Я — мертвец...
Я жил... Теперь я только падаю... Паденье,
Как мука, медленно и тяжело, как свинец.

Воронка черная без жалоб, без боренья
Вбирает мертвого. Проходят дни... года...
И ночь, и только ночь, без звука, без движенья.

Я понимаю все... Но сердце? И сюда
Схожу ли стариком иль пору молодую
Покинул... и любви сияла мне звезда?..

Я — груз, и медленно сползаю в ночь немую;
Растет, сгущается забвенья надо мной...
Но если это сон?.. О нет, и гробовую

Я помню тень, и крик, и язву раны злой...
Все это было... и давно... Иль нет? Не знаю...
О ночь небытия! Возьми меня... я твой...

Там... сердце на куски... Припоминаю.

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «ПРИЗРАКИ»

1

С душой печальною три тени неразлучны,
Они всегда со мной, и вечно их полет
Пронзает жизни сон, унылый и докучный.

С тоской гляжу на них, и страх меня берет,
Когда чредой скользят они безгласны,
И сердце точит кровь, когда их узнает;

Когда ж зеницы их в меня вольются властно,
Терзает плоть мою их погребальный пыл,
Мне кости леденит их пламень неугасный.

Беззвучно горький смех на их устах застыл,
Они влекут меня меж сорных трав и терний
Туда, под тяжкий свод, где тесен ряд могил...

Три тени вижу я в часы тоски вечерней.

Уста землистые и длани ледяные, —
 Но не считайте их за мертвецов.
 Увы! Они живут, укору сердца злые!

О, если бы я мог развеять тучи снов,
 О, если б унесла скорее месть забвенья
 Цветы последние торжественных венцов!

Я расточил давно мне данные куренья,
 Мой факел догорел, и сам алтарь, увы!
 В пыли и копоти лежит добычей тленья.

В саду божественном душистой головы
 Лилее не поднять, — без страсти, без желаний
 Там влагу выпили, там корни выжгли вы,

Уста землистые и ледяные длани.

Но что со мной? О нет... Теней светлеют вежды!
 Я солнце, я мечту за ними увидал:
 В какой блаженный хор слились вокруг Надежды!

О вы, которых я безумно так желал!
 Кого я так любил, коль это ваши тени,
 Отдайте счастья мне нетронутый фиал!

За робкую любовь, за детский жар молений,
 О, засияйте мне, лучи любимых глаз,
 Вы, косы нежные, обвейте мне колени!

Нет! Ночь... Все та же ночь. Мираж любви погас,
И так же, с сумраком таинственно сливаясь,
Три тени белые в немой и долгий час

Мне сердце леденят, тоской в него впиваясь...

ОГНЕННАЯ ЖЕРТВА

С тех пор, как истины прияли люди свет,
Свершилось 1618 лет.
На небе знойный день. У пышного примаса
Гостей по городу толпится с ночи масса;

Слились и яркий звон, и гул колоколов,
И море зыблется на площади голов.
По скатам красных крыш и в волны злато льется,
И солнце городу нарядному смеется,

На стены черные обители глядит,
Мосты горбатые улыбкой золотит
И блещет меж зубцов кривых и старых башен,
Где только что мятеж вставал и зол, и страшен.

Протяжным рокотом, как гулом вешних вод,
Тупик, и улицу, и площадь, и проход,
Сливаясь, голоса и шумы заливают,
И руки движутся, и плечи напирают.

Все в белом иноки: то черный, то седой,
То гладко выбритый, то с длинной бородой,
Тонсуры, лысины, шлыки и капюшоны,
На кровных скакунах надменные бароны,

Попоны, шитые девизами гербов,
И ведьмы старые с огрызками зубов...
И дамы пышные на креслах и в рыдванах,
И белые брыжжи на розовых мешанах,

И винный блеск в глазах, и винный аромат
Меж пестрой челяди гайдучьей и солдат.
Шуты и нищие, ханжи и проститутки,
И кантов пение, и площадные шутки,

И с ночи, кажется, все эти люди тут,
Чтоб видеть, как живым еретика сожгут.
А с высоты костра, по горло цепью скручен,
К столбу дубовому привязан и измучен,

На море зыбкое взирает еретик,
И мрачной горечью подернут строгий лик.
Он видит у костра безумных изуверов,
Он слышит вопли их и гимны лицемеров.

В горячке диких снов воздев себе венцы,
Вот злые двинулись попарно чернецы;
Дрожат уста у них от бешеных хулений,
Их руки грязные бичуют светлый гений,

Из глаз завистливых струится темный яд:
Они пожрать его, а не казнить хотят.
И стыдно за людей прикованному стало...
Вдруг занялся огонь, береста затрещала,

Вот пурпурный язык ступни ему лизнул
И быстро по пояс змеєю обогнул.
Надулись волдыри и лопнули, и точно
Назревшей мякотью плода кто брызнул сочной.

Когда ж огонь ему под сердце подступил,
«О боже, боже мой!» — он в муках возопил.
А с площади монах кричит с усмешкой зверской:
«Что, дьявольская съедь, отступник богомерзкий?

О боге вспомнил ты, да поздно, на беду.
Ну, здесь не догоришь — дожаришься в аду». —
И муки еретик гордыней подавляя
И страшное лицо из пламени являя,

Где кожу черную кипящий пот багрил,
На жалком выродке глаза остановил
И словом из огня стегнул его, как плетью:
«Холоп, не радуйся напрасно... междометью!»

Тут бешеный огонь слова его прервал,
Но гнев и меж костей там долго бушевал...

ЯВЛЕНИЕ БОЖЕСТВА

Над светлым озером Норвегии своей
Она идет, мечту задумчиво лелея,
И шею тонкую кровь розовая ей
Луча зари златит среди снегов алее.

Берез лепечущих еще прозрачна сень,
И дня отрадного еще мерцает пламя,
И бледных вод лазурь ее качает тень,
Беззвучно бабочек колеблема крылами.

Эфир обвеет ли волос душистых лен,
Он зыбью пепельной плечо ей одеваает,
И занавес ресниц дрожит, осеребрен
Полярной ночью глаз, когда их закрывает.

Ни тени, ни страстей им не оставят дни,
Из мира дольного умчались их надежды:
Не улыбаются, не плакали они,
И в голубую даль глядят спокойно вежды.

И страж задумчивый мистических садов
С балкона алого следит с улыбкой нежной
За легким призраком норвежских берегов
Среди бессмертных волн одежды белоснежной.

НЕГИБНУЩИЙ АРОМАТ

Если на розу полей
Солнце Лагора сияло,
Душу ее перелей
В узкое горло фиала.

Глину ль насытит бальзам
Или обвет хрусталь,
С влагой божественной нам
Больше расстаться не жаль:

Пусть, орошая утес,
Жаркий песок она побит,
Розой оставленных слез
Море потом не отмочит.

Если ж фиалу в кустах
Выпадет жребий лежать,
Будет, блаженствуя, прах
Розой Лагора дышать.

Сердце мое как фиал,
Не пощаженный судьбою,
Пусть он недолго дышал,
Дивная влага, тобою;

Той, перед кем пламенел
Чистый светильник любви,
Благословляя удел,
Муки простил я свои.

Сердцу любви не дано, —
Но, и меж атомов атом,
Будет бессмертно оно
Нежным твоим ароматом.

НАД УМЕРШИМ ПОЭТОМ

О ты, чей светлый взор на крыльях горней рати
Цветов неведомых за радугой искал
И тонких профилей в изгибах туч и скал,
Лежишь недвижим ты, — и на глазах печати.

Дышать — глядеть — внимать — лишь ветер, пыль и гарь...
Любить? Фиал златой, увы! но желчи полный.
Как бог скучающий, покинул ты алтарь,
Чтобы волной войти туда, где только волны.

На безответный гроб и тронутый скелет
Слеза обрядная прольется или нет,
И будет ли тобой банальный век гордиться, —

Но я твоей, поэт, завидую судьбе:
Твой тих далекий дом, и не грозит тебе
Позора — понимать, и ужаса — родиться.

МАЙЯ

О Майя, о поток химер неуловимых,
Из сердца мечешь ты фонтан живых чудес!
Там наслажденья миг, там горечь слез незримых,
И темный мир души, и яркий блеск небес.

И самые сердца рожденных на мгновенье
В цепи теней твоих, о Майя, только звеня.
Миг — и гигантская твоя хоронит тень
В веках прошедшего едва рожденный день
С слезами, воплями и кровью в нежных венах...
Ты молния? Ты сон? Иль ты бессмертья ложь?
О, что ж ты, ветхий мир? Иль то, на что похож,
Ты вихорь призраков, в мелькании забвенных?

* * *

О ты, которая на миг мне воротила
Цветы весенние, благословенна будь.
Люблю я, лучший сон вздымает сладко грудь,
И не страшит меня холодная могила.

Вы, милые глаза, что сердцу утро дней
Вернули, — чарами объятого поныне
Забывать вы можете — вам не отнять святыни:
В могиле вечности я неразлучен с ней.

Поль Верлен
(1844 — 1896)

СОН, С КОТОРЫМ Я СРОДНИЛСЯ

Сонет

Мне душу странное измучило виденье,
Мне снится женщина, безвестна и мила,
Всегда одна и та ж и в вечном измененьи,
О, как она меня глубоко поняла...

Все, все открыто ей... Обманы, подозренья,
И тайна сердца ей, лишь ей, увя! светла.
Чтоб освежить слезой мне влажный жар чела,
Она горячие рождает испаренья.

Брюнетка? Русая? Не знаю, а волос
Я ль не ласкал ее? А имя? В нем слилось
Со звучным нежное, цветущее с отцветшим;

Взор, как у статуи, и нем, и углублен,
И без вибрации, спокоен, утомлен.
Такой бы голос шел к теням, от нас ушедшим...

LE RÊVE FAMILIER*

Мы полюбили друг друга в минуты глубокого сна:
Призрак томительно-сладкий и странный — она.

* Привычный сон (*франц.*).

Маски, и вечно иной, никогда предо мной не снимая;
Любит она и меня понимает, немая...

Так к изголовью прикинув, печальная нежная мать
Сердцем загадки умеет одна понимать.

Если же греза в морщинах горячую влагу рождает,
Плача, лицо мне слезами она прохлаждает...

Цвета назвать не умею ланиты ласкавших волос,
Имя?.. В нем звучное, помню я, с нежным слилось.

Имя — из мира теней, что тоскуют в лазури сияний,
Взоры — глубокие взоры немых изваяний.

Голос — своею далекой, и нежной, и вечной мольбой,
Напоминая умолкших, зовет за собой...

COLLOQUE SENTIMENTAL*

Забвенный мрак аллеи обледенелых
Сейчас прорезали две тени белых.
Из мертвых губ, подъяв недвижный взор,
Они вели беззвучный разговор;
И в тишине аллеи обледенелых
Взывали к прошлому две тени белых:
«Ты помнишь, тень, наш молодой экстаз?»
— «Вам кажется, что он согрел бы нас?»
— «Не правда ли, что ты и там все та же,
Что снится тень моя тебе?» — «Миражи».
— «Нет, первого нам не дано забыть
Лобзанья жар... Не правда ль?» — «Может быть».
— «Тот синий блеск небес, ту веру в силы?»
— «Их черные оплаканы могилы».
Вся в инее косматилась трава,
И только ночь их слышала слова.

* Чувствительная беседа (*франц.*).

* * *

Начертания ветхой триоди
Нежным шепотом будит аллея,
И, над сердцем усталым алея,
Загораются тени мелодий.

Их волшебный полет ощутив,
Сердце мечется в узах обмана,
Не навстречу ему из тумана
Выплывает банальный мотив.

О, развеяться в шепоте елей...
Или ждать, чтоб мечты и печали
Это сердце совсем закачали,
И, заснувши... скатиться с качелей?

ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ

Сердце исходит слезами,
Словно холодная туча...
Сковано тяжкими снами,
Сердце исходит слезами.

Льются мелодией ноты
Шелеста, шума, журчанья,
В сердце под игом дремоты
Льются дождливые ноты...

Только не горем томимо
Плачет, а жизнью наскуча,
Ядом измен не язвимо,
Мерным биеньем томимо.

Разве не хуже мучений
Эта тоска без названья?
Жить без борьбы и влечений
Разве не хуже мучений?

* * *

Я долго был безумен и печален
От темных глаз ее, двух золотых миндалин.

И все тоскую я, и все люблю,
Хоть сердцу уж давно сказал: «Уйди, молню»,

Хотя от уз, от нежных уз печали
И ум и сердце вдаль, покорные, бежали.

Под игом дум, под игом новых дум,
Волнуясь, изнемог нетерпеливый ум,

И сердцу он сказал: «К чему ж разлука,
Когда она все с нами, эта мука?»

А сердце, плача, молвило ему:
«Ты думаешь, я что-нибудь пойму?»

Не разберусь я даже в этой муке,
Да и бывают ли и вместе, и в разлуке?»

**ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ СБОРНИКА
“SAGESSE”***

Мне под маскою рыцарь с коня не грозил,
Молча старое сердце мне Черный пронзил,

И пробрызнула кровь моя алым фонтаном,
И в лучах по цветам разошлася туманом.

Веки сжала мне тень, губы ужас разжал,
И по сердцу последний испуг пробежал.

* Мудрость (*франц.*).

Черный всадник на след свой немедля вернулся,
Слез с коня и до трупа рукою коснулся.

Он, железный свой перст в мою рану вложив,
Жестким голосом так мне сказал: «Будешь жив».

И под пальцем перчатки целителя твердым
Пробуждается сердце и чистым и гордым.

Дивным жаром объяло меня бытие,
И забилося, как в юности, сердце мое.

Я дрожал от восторга и чада сомнений,
Как бывает с людьми перед чудом видений.

А уж рыцарь поодаль стоял верховой;
Уезжая, он сделал мне знак головой,

И досель его голос в ушах остается:
«Ну, смотри. Исцелить только раз удается».

ТОМЛЕНИЕ

Сонет

Я — бледный римлянин эпохи Апостата.
Покуда портик мой от гула бойни тих,
Я стилем золотым слагаю акростих,
Где умирает блеск пурпурного заката.

Не медью тяжкою, а скукой грудь объята,
И пусть кровавый стяг там веет на других,
Я не люблю трубы, мне дики стоны их,
И нестерпим венок, лишенный аромата.

Но яд или ланцет мне дней не прекратят.
Хоть кубки допиты, и паразит печальный
Не прочь бы был почтить нас речью погребальной!

Пушай в огонь стихи банальные летят:
Я все же не один: со мною раб нахальный
И скука желтая с усмешкой инферальной.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛЮБВИ

Средь золотых шелков палаты Экбатанской,
Сияя юностью, на пир они сошлись
И всем семи грехам забвенно предались,
Безумной музыке покорны мусульманской.

То были демоны, и ласковых огней
Всю ночь желания в их лицах не гасили,
Соблазны гибкие с улыбками алмей
Им пены розовой бокалы разносили.

В их танцы нежные под ритм эпиталамы
Смычок рыдание тягучее вливал,
И хором пели там и юноши, и дамы,
И, как волна, напев то падал, то вставал.

И столько благости на лицах их светилось,
С такою силою из глаз она лилась,
Что поле розами далеко расцветилось
И ночь алмазами вокруг разубралась.

И был там юноша. Он шумному веселью,
Увит левкоями, отдаться не хотел;
Он руки белые скрестил по ожерелью,
И взор задумчивый слезою пламенел.

И всё безумнее, все радостней сверкали
Глаза, и золото, и розовый бокал,
Но брат печального напрасно окликал,
И сестры нежные напрасно увлекали.

Он безучастен был к кошачьим ласкам их,
Там черной бабочкой меж камней дорогих
Тоска бессмертная чело ему одела,
И сердцем демона с тех пор она владела.

«Оставьте!» — демонам и сестрам он сказал
И, нежные вокруг напечатлев лобзанья,
Освобождается и оставляет зал,
Им благовонные покинув одеянья.

И вот уж он один над замком, на столпе,
И с неба факелом, пылающим в деснице,
Грозит оставленной пирующей толпе,
А людям кажется мерцанием денницы.

Близ очарованной и трепетной луны
Так нежен и глубок был голос сатаны,
И треском пламени так дивно оттенялся.
«Отныне с богом я, — он говорил, — сравнялся.

Между Добром и Злом исконная борьба
Людей и нас давно измучила — довольно!
И, если властвовать вся эта чернь слаба,
Пусть жертвой падает она сегодня вольной.

И пусть отныне же, по слову сатаны,
Не станет более Ахавов и пророков,
И не для ужасов уродливой войны
Три добродетели воспримут семь пороков.

Нет, змею Иисус главы еще не стер:
Не лавры праведным, он тернии дарует,¹
А я — смотрите — ад, здесь целый ад пирует,
И я кладу его, Любовь, на твой костер».

Сказал — и факел свой пылающий роняет...
Миг — и пожар завыл среди полночной мглы:
Задрались бешено багровые орлы,
И стаи черных мух, играя, бес гоняет.

Там реки золота, там камня гулкий треск,
Костра бездонного там вой, и жар, и блеск;
Там хлопьев шелковых, искряся и летая,
Гурьба пчелиная кружится золотая.

И, в пламени костра бесстрашно умирая,
Веселым пением там величают смерть
Те, чуждые Христа, не жаждущие рая,
И, воя, пепел их с земли уходит в твердь.

А он на высоте, скрестивши гордо руки,
На дело гения взирает своего
И будто молится, но тихих слов его
Расслышать не дают бесовских хоров звуки.

И долго тихую он повторял мольбу,
И языки огней он провожал глазами,
Вдруг — громовой удар, и вмиг погасло пламя,
И стало холодно и тихо, как в гробу.

Но жертвы демонов принять не захотели:
В ней зоркость божьего всеильного суда
Коварство адское открыло без труда,
И думы гордые с творцом их улетели.

И тут страшнейшее случилось из чудес:
Чтоб только тяжким сном вся эта ночь казалась,
Чертог столбашенный из Мидии исчез,
И камня черного на поле не осталось.

Там ночь лазурная и звездная лежит
Над обнаженную евангельской долиной,
Там в нежном сумраке, колеблема маслиной,
Лишь зелень бледная таинственно дрожит.

Ручьи холодные струятся по камням,
Неслышно филины туманами плывут,
Там самый воздух полн и тайной, и забвеньем,
И только искры волн — мгновенные — живут.

Неуловимая, как первый сон любви,
С холма немая тень вздымается вдали,
А у седых корней туман осел уныло,
Как будто тяжело ему пробиться было.

Но, мнится, синяя уж тает тихо мгла,
И, словно лилия, долина оживает:
Раскрыла лепестки, и вся в экстаз ушла,
И к милосердию небесному зовет.

ВЕЧЕРОМ

Пусть бледная трава изгнанника покоит,
Иль ель вся в инее серебряная кроет,
Иль, как немая тень, исчадье тяжких снов,
Тоскуя бродит он вдоль скифских берегов,
Пока средь стад своих, с лазурными очами
Сарматы грубые орудуют бичами, —
Свивая медленно с любовью печаль,
Очами жадными поэт уходит в даль...
В ту даль безбрежную, где волны закрубились;
Редея, волосы седеющие сбились,

И ветер, леденя открытое чело,
Уносит из прорех последнее тепло.
Тоскою бровь свело над оком ослабелым.
И волосом щека подернулася белым.
И повесть мрачную страстей и нищеты
Рассказывают нам увядшие черты:
О лжи и зависти они взывают к свету,
И цезаря зовут, бесстрашные, к ответу.
А он все Римом полн — и болен и гоним,
Он славой призрачной венчает тот же Рим.
На темный жребий мой я больше не в обиде:
И наг, и немощен был некогда Овидий.

* * *

Я устал и бороться, и жить, и страдать,
Как затравленный волк от тоски пропадать.
 Не изменят ли старые ноги,
 Донесут ли живым до берлоги?
Мне бы в яму теперь завалиться и спать.
А тут эти своры... Рога на лугу.
Истерзан и зол я по кочкам бегу.
Далеко от людей схоронил я жильё,
Но у этих собак золотое чутьё,
 У Завистливой, Злой да Богатой.
 И в темных стенах каземата
Длится месяцы, годы томленьё мое.
На ужин-то ужас, беда на обед.
Постель-то на камне, а отдыха нет.

Я — МАНИАК ЛЮБВИ

Во мне живет любви безвольный маниак:
Откуда б молния ни пронизала мрак,
Навстречу ль красоте, иль доблести, иль силам,
Взвьется и летит безумец с жадным пылом.

Еще мечты полет в ушах не отшумит,
Уж он любимую в объятьях истомит.
Когда ж покорная подруга крылья сложит,
Он удаляется печальный, — он не может
Из сердца вырвать сна — часть самого себя
Он оставляет в нем...

Но вот опять любя

Ладья его летит на острова Иллюзий
За горьким грузом слез... Усладу в этом грузе
В переживаньи мук находит он: свою
Он мигом оснастил крылатую ладью
И, дерзкий мореход, в безвестном океане
Плывет, как будто путь он изучил заранее:
Там берег *должен быть* — обетованье грез!
Пусть разобьет ладью в пути ему утес...
С трамплина нового он землю различает,
Он в волны прыгает, плывет и доплывает
До мыса голого... Измучен, ночь и день
Там жадно кружит он: растет и тает тень,
Безумец все кружит средь дикости безвестной:
Ни травки, ни куста, ни капли влаги пресной;
Палящий жар в груди, часы голодных мук, —
И жизни ни следа, и ни души вокруг,
Ни сердца, как его... Ну, пусть бы не такого,
Но чтобы билось здесь, реального, живого,
Пусть даже низкого... но сердца... Никого...
Он ждет, он долго ждет... Энергию его
Двоят и жар, и страсть... И долго в отдаленьи
Безумцу грезится забытому спасенье.
Все парус грезится... Но безответна твердь,
И парус, может быть, увидит только смерть.
Что ж? Он умрет, земли, пожалуй, не жалея...
Лишь эта цепь потерь с годами тяжелее!
О, эти мертвецы! И, сам едва живой,
Души мятущейся природой огневой
В могилах он живет. Усладу грусти нежной

Лишь мертвые несут его душе мятежной.
Как к изголовью, он к их призракам прильнет.
Он с ними говорит, их видит, и заснет
Он с мыслию о них, чтоб, бредя, пробудиться...
Я — маниак любви... Что ж делать?

Покориться.

IMPRESSION FAUSSE *

(Из сборника «*Parallèlement*»)**

Мышь... покатила мышь
В пыльном поле точкою чернильной...
Мышь... покатила мышь...
По полям чернильным точкой пыльной.

Звон... или чудится звон...
Узникам моли покойной ночи.
Звон... или чудится звон...
А бессонным ночи покороче.

Сны — невозможные сны,
Если вас сердцам тревожным надо,
Сны — невозможные сны,
Хоть отравленной пойте нас усладой.

Луч... загорается луч...
Кто-то ровно дышит на постели.
Луч... загорается луч...
Декорация... иль месяц в самом деле?

Тень... надвигается тень...
Чернота ночная нарастает.

* Галлюцинация, ложное впечатление (*франц.*).

** «Параллельно» (*франц.*).

Тень... надвигается тень...
Но зарею небо зацветает.

Мышь... покатила мышь,
Но в лучах лазурных розовея.
Мышь... покатила мышь,
Эй вы, сони... к тачкам поживее!..

КАПРИЗ

Неуловимый маг в иллюзии тумана,
Среди тобою созданных фигур,
Я не могу узнать тебя, авгур,
Но я люблю тебя, правдивый друг обмана!
Богач комедии и нищий из романа,
То денди чопорный, то юркий балагур,
Ты даже прозу бедную одежды
От фрака строгого до «колеров надежды»
Небрежным гением умеешь оживить:
Здесь пуговицы нет, зато свободна нить,
А там на рукаве в гармонии счастливой
Смеется след чернил и плачет след подливвы.
За ярким натянул ты матовый сапог,
А твой изящный бант развязан так красиво,
Что, глядя на тебя, сказать бы я не мог,
Неуловимый маг, и ложный, но не лживый,
Гулять ли вышел ты на розовой заре
Иль вешаться идешь на черном фонаре.
Загадкою ты сердце мне тревожишь,
Как вынутый блестящий нож,
Но если веший бред поэтов только ложь,
Ты, не умея лгать, не лгать не можешь.
Увив безумием свободное чело,
Тверди ж им, что луна детей озябших греет,
Что от нее сердцам покинутым тепло,

Передавай им ложь про черное крыло,
Что хлороформом смерти нежно вест,
Покуда в сердце зуб больной не онемает...
Пой муки их, поэт. Но гордо о *своей*
Молчи, — в ответ, увы! Эльвира засмеется.
Пусть сердце ранено, пусть кровью обольется
Незримая мишень завистливых друзей,
Ты сердца, что любовью к людям бьется,
Им не показывай и терпеливо жди:
Пусть смерть одна прочтет его в груди, —
И белым ангелом в лазурь оно взовьется.

Сюлли Прюдом
(1839 — 1907)

ПОСВЯЩЕНИЕ

Когда стихи тебе я отдаю,
Их больше бы уж сердце не узнало,
И лучшего, что в сердце я таю,
Ни разу ты еще не прочитала.
Как около приманчивых цветов
Рой бабочек, белея нежно, вьется,
Так у меня о розы дивных снов
Что звучных строф крылом жемчужным
бьется.

Увы! Рука моя так тяжела:
Коснусь до них — и облако слетает,
И с нежного дрожащего крыла
Мне только пыль на пальцы попадает.
Мне не дано, упрямых изловив,
Сберечь красы сиянье лучезарной
Иль, им сердец булавкой не пронзив,
Рядами их накалывать попарно.
И пусть порой любимые мечты
Нарядятся в кокетливые звуки,
Не мотыльков в стихах увидишь ты,
Лишь пылью их окрашенные руки.

ИДЕАЛ

Прозрачна высь. Своим доспехом медным
Средь ярких звезд и ласковых планет
Горит луна. А здесь, на поле бледном,
Я полон грез о той, которой нет;

Я полон грез о той, чья за туманом
Незрима нам алмазная слеза,
Но чьим лучом, земле обетованным,
Иных людей насытятся глаза.

Когда бледней и чище звезд эфира
Она взойдет средь чуждых ей светил, —
Пусть кто-нибудь из вас, последних мира,
Расскажет ей, что я ее любил.

* * *

С подругой бледною разлуки
Остановить мы не могли:
Скрестив безжизненные руки,
Ее отсюда унесли.

Но мне и мертвая свиданье
Улыбкой жуткою сулит,
И тень ее меня томит
Больнее, чем воспоминанье.

Прощанье ль истомило нас,
Слова ль разлуки нам постыли?..
О, отчего вы, люди, глаз,
Глаз отчего ей не закрыли?

КОГДА Б Я БОГОМ СТАЛ...

Когда б я богом стал, земля Эдемом стала б,
И из лучистых глаз, сияя, как кристалл,
Лишь слезы счастья бежали б, чужды жалоб,
Когда б я богом стал.

Когда б я богом стал, среди душистой рощи
Корой бы нежный плод, созрев, не зарастал,
И самый труд бы стал веселым чувством мощи,
Когда б я богом стал.

Когда б я богом стал, вокруг тебя играя,
Всегда иных небес лазурный сон витал,
Но ты осталась бы все та же в высях рая,
Когда б я богом стал.

ТЕНИ

Остановлюсь — лежит, иду — и тень идет,
Так странно двигаясь, так мягко выступая;
Глухая слушает, глядит она слепая,
Поднимешь голову, а тень уже ползет.

Но сам я тоже тень. Я облака на небе
Тревожный силуэт. Скользит по формам взор,
И ум мой ничего не создал до сих пор:
Иду, куда влечет меня всевластный жребий.

Я тень от ангела, который сам едва
Один из отблесков последних божества,
Бог повторен во мне, как в дереве кумира,

А может быть, теперь среди иного мира,
К жерлу небытия дальнейшая ступень,
От этой тени тень живет и водит тень.

UN BONHOMME*

Когда-то человек и хил, и кроток жил,
Пока гранению им стекла подвергались,
Идею божества он в формулы вложил,
Такие ясные, что люди испугались.

С большою простотой он многих убедил,
Что и добра и зла понятия слагались
И что лишь нитями незримо подвигались
Те *мы*, которых он к фантомам низводил.

Он Библию любил и чтит благочестиво,
Но действий божества он в ней искал мотивы,
И на него горой восстал синедрион.

И он ушел от них — рука его гранила,
Чтобы ученые могли считать светила,
А называется Барух Спиноза он.

СОМНЕНИЕ

Белеет Истина на черном дне провала.
Зажмурьтесь, робкие, а вы, слепые, прочь!
Меня безумная любовь околдовала:
Я к ней хочу, туда, туда, в немую ночь.

Как долго эту цепь разматывать паденьем...
Вся наконец и цепь... И ничего... круги...
Я руки вытянул... Напрасно... Напряженьем
Кружим мучительно... Ни точки и ни зги...

А Истины меж тем я чувствую дыханье:
Вот мерным сделалось и цепи колыханье,
Но только пустоту пронзает мой размах...

* Честный малый (*франц.*).

И цепи, знаю я, на пядь не удлинятся, —
Сиянье где-то там, а здесь, вокруг, — темница,
Я — только маятник, и в сердце — только страх.

* * *

У звезд я спрашивал в ночи:
«Иль счастья нет и в жизни звездной?»
Так грустны нежные лучи
Средь этой жуткой черной бездны.

И мнится, горнею тропой,
Облиты бледными лучами,
Там девы в белом со свечами
Печальной движутся стопой.

Иль всё у вас моления длятся,
Иль в битве ранен кто из вас, —
Но не лучи из ваших глаз,
А слезы светлые катятся.

АГОНИЯ

Над гаснущим в томительном бреду
Не надо слов — их гул нестроен;
Немного музыки — и тихо я уйду
Туда — где человек спокоен.

Все чары музыки, вся нега оттого,
Что цепи для нее лишь нити;
Баюкайте печаль, но ничего
Печали вы не говорите.

Довольно слов — я им устал внимать,
Распытывать, их чисты ль цели:
Я не хочу того, что надо понимать,
Мне надо, чтобы звуки пели...

Мелодии, чтоб из одной волны
 Лились и пенились другие...
Чтоб в агонию убежали сны,
 несла в могилу агония...

Над гаснущим в томительном плену
 Не надо слов — их гул нестроен,
Но если я под музыку усну,
 Я знаю: будет сон спокоен.

Найдите няню старую мою:
 У ней пасти стада еще есть силы;
Вы передайте ей каприз мой на краю
 Моей зияющей могилы.

Пускай она меня потешит, спев
 Ту песню, что давно певала;
Мне сердце трогает простой ее напев,
 Хоть там и пеня мало.

О, вы ее отыщете — живуч
 Тот род людей, что жнет и сеет,
А я из тех, кого и солнца луч
 Уж к сорокам годам не греет.

Вы нас оставите... Былое оживет,
 Презрев туманную разлуку,
Дрожащим голосом она мне запоет,
 На влажный лоб положит тихо руку...

Ведь может быть: из всех она одна
 Меня действительно любила...
И будет вновь душа унесена
 К брегам, что утро золотило.

Чтоб, как лампаде, сердцу догореть
 Иль, как часам, остановиться,

Чтобы я мог так просто умереть,
Как человек на свет родится.

Над гаснущим в томительном бреду
Не надо слов — их гул нестроен;
Немного музыки — и я уйду
Туда -- где человек спокоен.

Артур Рембо

(1854 — 1891)

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Один из голубых и мягких вечеров...
Стебли колочие, и нежный шелк тропинки,
И свежесть ранняя на бархате ковров,
И ночи первые на волосах росинки.

Ни мысли в голове, ни слова с губ немых,
Но сердце любит всех, всех в мире без изъятия,
И сладко в сумерках бродить мне голубых,
И ночь меня зовет, как женщина в объятья...

БОГЕМА

Не властен более подошвы истоптать,
В пальто, которое достигло идеала,
И в сани вашего, о Эратó, вассала
Под небо вольное я уходил мечтать.

Я забывал тогда изъяны... в пьедестале
И сыпал рифмами, как зернами весной,
А ночи проводил в отеле «Под луной»,
Где шелком юбок слух мне звезды щекотали.

Я часто из канав их шелесту внимал
Осенним вечером, и, как похмелья сила,
Весельем на сердце и лаской ночь росила.

Мне сумрак из теней там песни создавал,
Я ж к сердцу прижимал носок моей ботинки
И, вместо струн, щипал мечтательно резинки.

ФЕИ РАСЧЕСАННЫХ ГОЛОВ

На лобик розовый и влажный от мучений
Сзывая белый рой несознанных влечений,
К ребенку нежная ведет сестру сестра,
Их ногти — жемчуга с отливом серебра.
И, посадив дитя пред рамою открытой,
Где в синем воздухе купаются цветы,
Они в тяжелый лен, прохладною омытый,
Впускают грозные и нежные персты.
Над ним, мелодией дыханья слух балуя,
Незримо розовый их губы точат мед;
Когда же вздох порой его себе возьмет,
Он на губах журчит желаньем поцелуя.
Но черным веером ресниц их усыплен,
И ароматами, и властью пальцев нежных,
Послушно отдает ребенок сестрам лен,
И жемчуга щитов уносят прах мятежных.
Тогда истомы в нем подымлетса вино,
Как мех гармонии, когда она вздыхает...
И в ритме ласки их волшебной заодно
Все время жажда слез, рождаясь, умирает.

Стефан Малларме

(1842—1898)

ДАР ПОЭМЫ

О, не кляни ее за то, что Идумеи
На ней клеймом горит таинственная ночь!
Крыло ее в крови, а волосы как змеи,
Но это дочь моя, пойми: родная дочь.
Когда чрез золото, и волны аромата,
И пальмы бледные холодного стекла
На светоч ангельский денница пролила
Свой первый робкий луч и сумрак синеватый
Отца открытием неожиданным поразил,
Печальный взор его вражды не отразил,
Но ты, от мук еще холодная, над зыбкой
Ланиты бледные ты склонишь ли с улыбкой
И слабым голосом страданий и любви
Шепнешь ли бедному творению: «Живи»?
Нет! Если б даже грудь над ней ты надавила
Движеньем ласковым поблекшего перста,
Не освежить тебе, о белая Сивилла,
Лазурью девственной сожженные уста.

ГРОБНИЦА ЭДГАРА ПОЭ

Лишь в смерти ставший тем, чем был он изначала,
Грозя, заносит он сверкающую сталь
Над непонявшими, что скорбная скрижаль
Царю немых могил осанною звучала.

Как гидра некогда отпрянула, вясь,
От блеска истины в пророческом глаголе,
Так возопили вы, над гением глумясь,
Что яд философа развел он в алкоголе.

О, если туч и скал осия тяжкий гнев,
Идее не дано отлиться в барельеф,
Чтоб им забвенная отметилась могила,

Хоть ты, о черный след от смерти золотой,
Обломок лишнего в гармонии светила,
Для крыльев Дьявола отныне будь метой.

СМЫЧОК

У нее были косы густые
И струились до пят, развитые,
Точно колос полей, золотые.

Голос фей, но странней и нежней,
И ресницы казались у ней
От зеленого блеска черней.

Но ему, когда конь мимо пашен
Мчался, нежной добычей украшен,
Был соперник ревнивый не страшен,

Потому что она никогда
До него, холодна и горда,
Никому не ответила: «Да».

Так безумно она полюбила,
Что когда его сердце остыло,
То в своем она смерть ощутила.

И внимает он бледным устам:
«На смычок тебе косы отдам:
Очаруешь ты музыкой дам».

И, лобзая, вернуть он не мог
Ей румянца горячего щек,—
Он из кос ее сделал смычок.

Он лохмотья слепца надевает,
Он на скрипке кременской играет
И с людей подаянье собирает.

И, чаруя, те звуки пьянят,
Потому что в них слезы звенят,
Оживая, уста говорят.

Царь своей не жалеет казны,
Он в серебряных тенях луны
Увезенной жалеет жены.

Конь усталый с добычей не скачет,
Звуки льются... Но что это значит,
Что смычок упрекает и плачет?

Так томительна песня была,
Что тогда же и смерть им пришла;
Свой покойница дар унесла;

И опять у ней косы густые,
И струятся до пят, развитые,
Точно колос полей, золотые...

* * *

Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Ням-ням, пипи, аа, бобо.
Do, si, la, sol, fa, mi, re, do.

Папаша бреется. У мамы
Шипит рагу. От вечной гаммы,
Свидетель бабкиных крестин,
У дочки стонет клавишин...
Ботинки, туфельки, сапожки
Прилежно ваксит старший сын
И на ножищи, и на ножки...
Они все вместе в Luxembourg*
Идут сегодня делать тур,

* Люксембургский сад (в Париже), произносится: Люксамбур (*франц.*).

Но будут дома очень рано
И встанут в шесть... чтоб неустанно

Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

Ням-ням, пипи, аа, бобо.

Do, si, la, sol, fa, mi, re, do.

Морис Роллина
(1846 — 1903)

БОГЕМА

Сонет

Последний мой приют — сей пошлый макадам,
Где столько лет влачу я старые мозоли
В безумных поисках моей пропавшей доли,
А голод, как клевет, за мною по пятам.

Твоих, о Вавилон, вертепов блеск и гам
Коробку старую мою не дразнят боле!
Душа там скорчилась от голода и боли,
И черви бледные гнездятся, верно, там.

Я призрак, зябнувший в зловонии отребий,
С которыми сравнивал меня завидный жребий,
И даже псов бежит передо мной орда;

Я струпьями покрыт, я стар, я гнил, я — парий,
Но ухмыляюсь я презрительно, когда
Помыслю, что ни с кем не хаживал я в паре.

БИБЛИОТЕКА

Я приходил туда, как в заповедный лес:
Тринадцать старых ламп, железных и овальных,
Там проливали блеск мерцаний погребальных
На вековую пыль забвенья и чудес.

Тревоги тайные мой бедный ум гвоздили,
Казалось, целый мир заснул иль опустел;
Там стали креслами тринадцать мертвых тел.
Тринадцать желтых лиц со стен за мной следили.

Оттуда, помню, раз в оконный переплет
Я видел лешего причудливый полет,
Он извивался весь в усилиях бесполезных;

И содрогнулась мысль, почуяв тяжкий плен, —
И пробили часы тринадцать раз железных
Средь запустения проклятых этих стен.

БЕЗМОЛВИЕ

(тринадцать строк)

Безмолвие — это душа вещей,
Которым тайна их исконная священна,
Оно бежит от золота лучей,
Но розы вечера зовут его из плена;
С ним злоба и тоска безумная забвенна,
Оно бальзам моих мучительных ночей,
Безмолвие — это душа вещей,
Которым тайна их исконная священна.
Пускай роз вечера живые горячей —
Ему милей приют дубравы сокровенной,
Где спутница печальная ночей
Подолгу сторожит природы сон священный...
Безмолвие — это душа вещей.

ПРИЯТЕЛЬ

Одетый в черное, он бледен был лицом,
И речи, как дрова, меж губ его трещали,
В его глазах холодный отблеск стали
Сменялся иногда зловещим багрецом.

Мы драмы мрачные с ним под вечер читали,
Склонялись вместе мы над желтым мертвецом,
Высокомерие улыбки и печали
Сковали вместе нас таинственным кольцом.

Но это черное и гибкое создание
В конце концов меня приводит в содроганье.
«Ты — дьявол», — у меня сложилось на губах.

Он мигом угадал: «Вам боженька милее,
Так до свидания, живите веселее!
А дьявол вам дарит Неисцелимый Страх».

Тристан Корбьер
(1845 — 1875)

ДВА ПАРИЖА

1

НОЧЬЮ

Ты — море плоское в тот час, когда отбой
Валы гудящие угнал перед собой,
А уху чудится прибоя ропот слабый,
И тихо черные заворошились крабы.

Ты — Стикс, но высохший, откуда, кончив лов,
Уносит Диоген фонарь, на крюк надетый,
И где для удочек «проклятые» поэты
Живых червей берут из собственных голов.

Ты — щетка жнивника, где в грязных нитях рони
Прилежно роется зловонный рой вороний,
И от карманников, почуявших барыш,
Дрожа спасается облезлый житель крыш.

Ты — смерть. Полиция храпит, а вор устало
Рук жирно-розовых взасос целует сало,
И кольца красные от губ на них видны
В тот час единственный, когда ползут и сны.

Ты — жизнь, с ее волной певучей и живою
Над лакированной тритоньей головою,
А сам зеленый бог в мертвецкой и застыл,
Глаза стеклянные он широко раскрыл.

ДНЕМ

Гляди, на небесах, в котле из красной меди,
Неисчислимы для нас варятся снеди.
Хоть из остаточков состряпано, зато
Любовью слобрено и потом полито!

Пред жаркой кухнею толкутся побирашки,
Свежинка с запашком заманчиво бурлит,
И жадно пьяницы за водкой тянут чашки,
И холод нищего оттертого долит.

Не думаешь ли, брат, что, растопив червонцы,
Журчаще-жаркий жир* для всех готовит солнце?
Собачьей мы и той похлебки подождем.

Не всем под солнцем быть, кому и под дождем.
С огня давно горшок наш черный в угол сдвинут,
И желчью мы живем, пока нас в яму кинут.

* Le gras grouillon grouillant (франц.).

Франсис Жамм
(1868 — 1938)

* * *

Когда для всех меня не станет меж живыми,
С глазами, как жуки на солнце, голубыми,
Придешь ли ты, дитя? Безвестною тропой
Пойдем ли мы одни... одни, рука с рукой?
О, я не жду тебя дрожащей, без одежды,
Лилея чистая между стыдливых дев,
Я знаю, ты придешь, склоняя робко вежды,
Корсажем розовым младую грудь одев.
И, даже братского не обменив лобзанья,
Вдоль терний мы пойдем, расцветших для терзанья,
Где паутин повис трепещущий намет,
Молчанья чуткого впивая жадно мед.
И иногда моей смущенная слезою,
Ты будешь нежною рукой мою сжимать,
И мы, волнуясь, как сирени под грозой,
Не будем понимать... не будем понимать...

Вьеле Гриффен (1864—1937)

ОСЕНЬ

Как холодный дождь, изменницей слывет,
Точно ветер, и глуха, да оборвет.
Подозрительней, фальшивей вряд ли есть,
Имя осень ей — бродяжит нынче здесь...
Слышишь: палкой-то по стенке барабанит,
 Выйди за дверь: право, с этой станет.
Выйди за дверь. Пристыди ж ты хоть ее,
Вот неряха-то. Не платье, а тряпье.
Грязи, грязи-то на ботах накопила,
Да не слушай, что бы та ни говорила.
Не пойдет сама... швыряй в нее каменья,
А вопить начнет — не бойся. Представленье.
 Мы давно знакомы... Год назад
 Здесь была, ходила с нами в сад,
Улыбалась, виноградом нас дарила,
Так о солнышке приятно говорила:
«Слышишь, летний, мол, лепечет ветерок,
Поработал, так приятно — на бочок».
Ужин подали — уселась вечерять.
Этой женщины, да чтобы не узнать.
Дали нового отведать ей винца,
Принесли потом в сарай мы ей сенца.
Спать ложилася меж телкой и кобылой,
Смотрим: к утру и вода в сенях застыла.

Лист дождем посыпался с тех пор.
Нет, шалишь. Теперь и ставни на запор.
Пусть идет в другие греться сени:
Нынче места нет на нашем сене,
Околачивать других ищи ступеней...
Листьев, листьев-то у ней по волосам,
А глаза-то смотрят точно бы из ям.
Голос хриплый — ну, а речи точно мед;
Только нас теперь и этим не возьмет.
Золотом обвесься — нас не тронет,
Подвяжи звонок-то, пусть трезвонит.
Да дровец бы для Мороза припасти,
Не зашел бы дед Морозко по пути.

Анри де Ренье
(1864 — 1936)

ПРОГУЛКА

Заветный час настал. Простимся — и иди!
Пробудь в молчании, одна с своею думой,
Весь этот долгий день — он твой и впереди,
О тени, где меня оставила, не думай.

Иди, свободная и легкая, как сны,
В двойном сиянии улыбки, в ореолах
И утра, и твоей проснувшейся весны;
Ты не услышишь вслед шагов моих тяжелых.

Есть дуб, как жизнь моя, увечен и живуч,
Он к меланхоликам и скептикам участлив
И приютит меня — а покраснеет луч,
В его молчании уж тем я буду счастлив,

Что ветер ласковым движением крыла,
Отвеяв от меня докучный сумрак грезы,
Цветов, которые ты без меня рвала,
Мне аромат домчит, тебе оставя розы.

* * *

Грозою полдень был тяжелый напоен,
И сад в его уборе брачном
Сияньем солнца мрачным
Был в летаргию погружён.

Стал мрамор как вода, лучами растоплён,
И теплым и прозрачным,
Но в зеркале пруда
Казалась мрамором недвижная вода.

ИЗ НЕМЕЦКИХ ПОЭТОВ

Иоганн Вольфганг Гёте

(1749 — 1832)

* * *

Над высью горной
Тишь.
В листве, уж черной,
Не ощутишь
Ни дуновенья.
В чаще затих полет...
О, подожди!.. Мгновенье —
Тишь и тебя... возьмет.

Вильгельм Мюллер
(1794 — 1827)

ШАРМАНЩИК

В дальнем закоулке
Дед стоит седой
И шарманку вертит
Дряхлою рукой.

По снегу да босый
Еле бродит дед;
На его тарелке
Ни копейки нет.

Мимо идут люди,
Слушать не хотят —
Только псы лихие
Деда теребят.

Уж давно о счастье
Дед не ворожит,
Старую шарманку
Знай себе крутит...

Эй, старик! Не легче ль
Вместе нам терпеть...
Ты верти шарманку,
А я буду петь...

Генрих Гейне
(1797 — 1856)

ICH GROLLE NICHT*

Я всё простил: простить достало сил,
Ты больше не моя! Но я простил.
Он для других, алмазный этот свет,
В твоей душе ни точки светлой нет.

Не возражай! Я был с тобой во сне;
Там ночь росла в сердечной глубине,
И жадный змей все к сердцу припадал...
Ты мучишься... я знаю... я видал...

МНЕ СНИЛАСЬ ЦАРЕВНА

Мне снилась царевна в затишье лесном,
Безмолвная ночь расстилалась;
И влажным, и бледным царевна лицом
Так нежно ко мне прижималась.

«Пускай не боится твой старый отец:
О троне его не мечтаю,
Не нужен мне царский алмазный венец;
Тебя я люблю и желаю».

* Я не сержусь (нем.).

— «Твоей мне не быть: я бессильная тень, —
С тоской мне она говорила, —
Для ласки минутной, лишь скроется день,
Меня выпускает могила».

* * *

О страсти беседует чинно
За чаем — их целый синклит:
Эстетиком — каждый мужчина,
И ангелом дама глядит...

Советник скелетоподобный
Душою парит в облаках,
Смешок у советницы злобный
Прикрылся сочувственным «ах!».

Сам пастор мирится с любовью,
Не грубой, конечно, «затем,
Что вредны порывы здоровью»,
Девушка лепечет: «Но чем?»

«Для женщины чувство — святыня...
Хотите вы чаю, барон?»
Мечтательно смотрит графиня
На белый баронский пластрон...

Досадно, малютке при этом
Моей говорить не пришлось:
Она изучала с поэтом
Довольно подробно вопрос...

ДВОЙНИК

Ночь, и давно спит закоулок;
Вот ее дом — никаких перемен,
Только жилища не стало, и гулок
Шаг безответный меж каменных стен.

Тише... Там тень... руки ломает,
С неба безумных не сводит очей...
Месяц подкрался и маску снимает.
«Это — не я: ты лжешь, чародей!

Бледный товарищ, зачем обезьянить?
Или со мной и тогда заодно
Сердце себе приходил ты тиранить
Лунною ночью под это окно?»

СЧАСТЬЕ И НЕСЧАСТЬЕ

Счастье деве подобно пугливой:
Не умеет любить и любима,
Прядь откинув со лба торопливо,
Прикоснется губами, и мимо.

А несчастье — вдова и сжимает
Вас в объятиях с долгим лобзаньем,
А больны вы, перчатки снимает
И к постели садится с вязаньем.

Ганс Мюллер
(1882 — 1933)

МАТЬ ГОВОРИТ

Аннушка, тут гость сейчас сидел,
Все на дверь твою, вздыхая, он глядел:
«Пропадаю, мол, без Аннушки с тоски,
Сердца вашего прошу я и руки».

Аннушка, добра желает мать:
Что-то графской и кареты не слышать.
А у гостя — что шелков да что белил,
«А постель я с ними б нашу разделил».

И кого-кого не путал этот май,
Принца, видишь, нам из-за моря подай,
А как осень-то неслышно подошла,
Смѳтришь: каждая приказчика нашла.

Аннушка, конфетинка моя!
Побеги-ка ж да скажи: согласна я,
Право, бредни-то пора и позабыть,
Не за графом ведь, за лавочником быть.

АРЕТИНО

Сонет

Таддэо Цуккоро, художник слабый, раз
Украдкой с полотном пробрался к Аретину
И говорит ему: «Я вам принес картину,
Вы — мастер, говорят, свивать венки из фраз

Для тех, кто платит вам... Немного тускло... да-с,
И краски вылинять успели вполовину.
Но об искусстве я не утруждаю вас,
Вот вам сто талеров, и с этим вас покину».

Подумал Аретин, потом перо берет
И начинает так: «Могу сказать заранее —
Мадонна Цуккоро в потомстве не умрет:

Как розов колер губ, а этот небосвод,
А пепел... Полотно виню в одном изъяне:
На нем нет золота — оно в моем кармане».

ГОВОРИТ СТАРАЯ ЧЕРЕШНЯ

Остов от черешни я, назябсья ж я зимой,
Инею-то, снегу-то на ветках, боже мой!

А едва слышал я твой шаг сквозь забытьё,
В воздухе дыхание почувствовал твоё,

Весь я точно к Троице разубрался в листы,
Замерцали белые меж листьями цветы.

Было утро снежного и сиверкого дня,
Но когда ты ласково взглянула на меня,

Чудо совершилось — желания зажглись
И на ветках красные черешни налились.

Каждая черешенка так и горит, любя,
Каждая шепнула бы: «Я только для тебя»;

Все же мы, любимая, на ласковый твой свет
Сердца благодарного мы — ласковый ответ».

Но со смехом в поле ты, к подругам ты ушла,
И, дрожа, увидел я, как набегала мгла,

Как плоды срывались, как цвет мой опадает,
Никогда я, кажется, сильнее не страдал.

Но зато не холоден мне больше зимний день,
Если в сетке снежной я твою завижу тень.

А когда б в глаза твои взглянуть мне хоть во сне,
Пусть опять и чудо мне, пусть и мука мне.

РАСКАЯНИЕ У ЦИРЦЕИ

Красу твою я проклинаяю:
Покоя я больше не знаю,
Нет сердцу отрады тепла.

Чем дети мои виноваты?
Кольцо и червонцы взяла ты,
Что знал я, чем был я, взяла,

Я вынес ужасную пытку,
Но губ к роковому напитку,
Клянусь, не приближу я вновь.

С детьми помолюсь я сегодня:
Слова их до бога доходней,
Целительней сердцу любовь.

ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ПОЭТОВ

Генри Лонгфелло

(1807 — 1882)

ДНЯ НЕТ УЖ...

Дня нет уж... За крыльями Ночи
Прозрачная стелется мгла,
Как легкие перья кружатся
Воздушной стезею орла.

Сквозь сети дождя и тумана
По окнам дрожат огоньки,
И сердце не может бороться
С волной набежавшей тоски,

С волною тоски и желанья,
Пусть даже она — не печаль,
Но дальше, чем дождь от тумана,
Тоска от печали едва ль.

Стихов бы теперь понаивней,
Помягче, поглубже огня,
Чтоб эту тоску убаюкать
И думы ушедшего дня,

Не тех грандиозных поэтов,
Носителей громких имен,
Чьи стоны звучат еще эхом
В немых коридорах Времен.

Подобные трубным призывам,
Как парус седой кораблю,
Они наполняют нас бурей, —
А я о покое молю.

Мне надо, чтоб дума поэта
В стихи безудержно лилась,
Как ливни весенние хлынув
Иль жаркие слезы из глаз,

Поэт же и днем за работой,
И ночью в тревожной тиши
Все сердцем бы музыку слышал
Из чутких потемок души...

Биенье тревожное жизни
Смиряется песнью такой,
И сердцу она, как молитва,
Несет благодатный покой.

Но только стихи, дорогая,
Тебе выбирать и читать:
Лишь музыка голоса может
Гармонию строф передать.

Ночь будет певучей и нежной,
А думы, темнившие день,
Бесшумно шатры свои сложат
И в поле растают, как тень.

ИЗ РИМСКИХ ПОЭТОВ

Гораций

(65 до н. э. — 8 до н. э.)

(Од. II, 8)

Когда б измена красу губила,
Моя Барина, когда бы трогать
То зубы тушью она любила,
То гладкий ноготь,

Тебе б я верил, но ты божбою
Коварной, дева, неуязвима,
Лишь ярче блещешь, и за тобою
Хвостом пол-Рима.

Недаром клятвой ты поносила
Родимой пепел, и хор безгласный
Светил, и вышних, над кем не властна
Аида сила...

Расцвел улыбкой Киприды пламень
И нимф наивность, и уж не хмуρο
Глядит на алый точильный камень
Лицо Амура.

Тебе, Барина, рабов мы рóстим,
Но не редееет и старых стая,
Себя лишь тешат, пред новым гостем
Мораль читая.

То мать за сына, то дед за траты
Клянут Барину, а девам сна нет,
Что их утеху на ароматы
Барины манит...

(ОД. III, 7)

Астерия плачет даром:
Чуть немножко потеплеет —
Из Вифинии с товаром
Гига море прилелеет...

Амалфеи жертва бурной,
В Орик Нотом уловленный,
Ночи он проводит дурно,
И озябший, и влюбленный.

Пламя страсти — пламя злое,
А хозяйский раб испытан:
Как горит по гостю Хлоя,
Искушая, все твердит он.

Мол, коварных мало ль жен-то
Вроде той, что без запрета
Погубить Беллерофонта
Научила мужа Прета,

Той ли, чьи презревши ласки,
Был Пелей на шаг от смерти.
Верьте сказкам иль не верьте, —
Все ж на грех наводят сказки...

Но не Гига... Гиг крепится:
Скал Икара он тупее...
Лишь тебе бы не влюбиться
По соседству, в Энипея, —

Кто коня на луговине
Так уздою покоряет?
В желтом Тибре кто картинней
И смелей его ныряет?

Но от плачущей свирели
Все ж замкнись, как ночь настанет...
Только б очи не смотрели,
Побранит, да не достанет...

(ОД. III, 26)

Давно ль бойца страшились жены
И славил девы нежный стон?..
И вот уж он, мой заслужённый,
С любовной снастью барбитон.

О левый бок Рожденной в пене
Сложите, отроки, скорей
И факел мой, разивший тени,
И лом, и лук — грозу дверей!

Но ты, о радость Кипра, ты,
В бесснежном славима Мемфисе,
Хоть раз стрекалом с высоты
До Хлои дерзостной коснися.

ИЗБРАННАЯ ДАЛЬ

Стихи

Поля Верлена

в переводе

ФЕДОРА СОЛОГУБА

ИЗ КНИГИ «ПОЭМЫ САТУРНАЛИЙ»

(1866)

НИКОГДА ВОЕКИ

Зачем ты вновь меня томишь, воспоминанье?
Осенний день хранил печальное молчанье,
И ворон несся вдаль, и бледное сиянье
Ложилось на леса в их желтом одеяньи.

Мы с нею шли вдвоем. Пленяли нас мечты,
И были волоса у милой развиты,
И звонким голосом небесной чистоты
Она спросила вдруг: «Когда был счастлив ты?»

На голос сладостный, на взор ее тревожный
Я молча отвечал улыбкой осторожной
И руку белую смиренно целовал.

О первые цветы, как вы благоухали!
О голос ангельский, как нежно ты звучал,
Когда уста ее признание лепетали!

ЖЕНЩИНЕ

Тебе мои стихи о ласке утешительной
Очей, где слезы радости, где сладкая мечта,
О сердце кротком, девственном. Сложилась песня та
Во тьме тоски моей, безумно разрушительной.

Повадился ко мне, увы! кошмар губительный.
Растет, как стая жадная волков из-за куста.
Нет от него спасения, жизнь кровью облита,
Он давит сердце мне с жестокостью мучительной.

Томлюсь, томлюсь безрадостно, и первая тоска
Адама в первый день внезапного изгнания,
Как нежная идиллия, перед моей сладка.

Твои ж заботы все отрадней щебетания,
О милая, тех ласточек, что в небе голубом
Летают ранней осенью, прохладным светлым днем.

ТОСКА

Меня не веселит ничто в тебе, Природа:
Ни хлебные поля, ни отзвук золотой
Пастушеских рогов, ни утренней порой
Заря, ни красота печального захода.

Смешно искусство мне, и Человек, и ода,
И песенка, и храм, и башни вековой
Стремленье гордое в небесный свод пустой,
Что мне добро и зло, и рабство, и свобода!

Не верю в бога я, не обольщаюсь вновь
Наукою, а древняя ирония, Любовь,
Давно бегу ее в презренье молчаливом.

Устал я жить, и смерть меня страшит. Как челн,
Забытый, зыблемый приливом и отливом,
Моя душа скользит по воле бурных волн.

МОРЯНА

Океан трепещет
Звучной шириной,
Траур над луной,
И луна не блещет, —

Молний излом,
Пагубный и хмурый,
Вьется в тверди бурой
Блещущим ножом, —

Судорожно скачет
Каждый новый вал
Вдоль подводных скал,
Бьется, блещет, плачет, —

Там, где ураган
В небесах блуждает,
Грозно гром рыдает, —
Бьется океан.

ПОСМЕШИЦА

Не опасаясь ни лишений,
Ни утомленья, ни тоски,
Они дорогой приключений
Идут в лохмотьях, но дерзки.

Мудрец казнит их речью ловкой,
Глупец становится в тупик,
Девицы дразнят их издевкой,
Мальчишки кажут им язык.

Конечно, жизнь их ядовита,
Они презренны и смешны,
Всегда напоминая чьи-то
Во тьме ночной дурные сны.

Гнутят! Над резкою гитарой
Блуждает вольная рука.
В их странных песнях ропот ярый,
По горней родине тоска;

В глазах то плачет, то смеется
Любовь, наскучившая нам,
К тому, что вечно остается,
К давно почившим и к богам.

Блуждайте ж, отдыха не зная,
Людьми отвергнутой толпой
У двери замкнутого рая,
Над грозной бездною морской.

С природой люди дружны стали,
Чтобы казнить вас поделом
За то, что гордые в печали
Идете с поднятым челом,

И вас, отмщая дерзновенных
Надежд высокомерный пыл,
Встречает на пути забвенных
Природа схваткой грубых сил.

То зной сжигает ваше тело,
То холод в кости вам проник;
Горячка кровью овладела,
Терзает кожу вам тростник.

Все гонят вас с ожесточеньем,
А после смерти роковой
И волк посмотрит с отвращеньем
На труп холодный и худой.

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

О, струнный звон,
Осенний стон,
Томный, скучный.
В душе больной
Напев ночной
Однозвучный.

Туманный сон
Былых времен
Ночь хоронит.
Томлюсь в слезах,
О ясных днях
Память стонет.

Душой с тобой,
О ветер злой,
Я, усталый.
Мои мечты
Уносишь ты,
Лист увялый.

ПЕСНЯ НАИВНЫХ

Мы наивны, синеглазки
Из романов старых лет.
Наши гладкие повязки,
Как и нас, забыл весь свет.

Мы дружны необычайно.
Дня лучи не так чисты,
Как заветных мыслей тайна.
Как лазурь, у нас мечты.

На поляны убегаем,
Лишь спадет ночная тень,
Ловим бабочек, болтаем
И смеемся целый день.

Под соломенные шляпки
К нам загару нет пути.
Платья — легонькие тряпки,
Где белей могли б найти!

Ришелье, иль де-Коссады,
Или кавалер Фоблаз
Завлекают нас в засады
Нежных слов и томных глаз.

Но напрасны их повадки,
И увидят лишь одни
Иронические складки
Наших юбочек они.

Дразнит их воображенье,
Этих всех сорвиголов,
Наше чистое презренье,
Хоть порой от милых слов

Начинает сердце биться
В обаяньи тайных дум
И в предвевеньи, — влюбиться
Не пришлось бы наобум.

СЕРЕНАДА

То не голос трупа из могилы темной,
Я перед тобой.

Слушай, как восходит в твой приют укромный
Голос резкий мой.

Слушай, мандолине душу открывая,
Как звучит струна:

Про тебя та песня, льстивая и злая,
Мною сложена.

Я спою про очи: блеск их переливный —
Золото, оникс.

Я спою про Лету груди и про дивный
Темных кудрей Стикс.

То не голос трупа из могилы темной,
Я перед тобой.

Слушай, как восходит в твой приют укромный
Голос резкий мой.

Тело молодое, как и подобает,
Много восхваляю:

Вспомнив, как роскошно плоть благоухает,
По ночам не сплю.

Завершая песню, воспую лобзанья
Этих алых губ

И твою улыбку на мои страданья,
Ангел! Душегуб!

Слушай, мандолине душу открывая,
Как звенит струна:

Про тебя та песня, льстивая и злая,
Мною сложена.

В ЛЕСАХ

Одни, наивные иль с вялым организмом,
Услады томные найдут в лесной тени,
Прохладу, аромат, и счастливы они.
Мечтания других там дружны с мистицизмом,

И счастливы они. А я, — меня страшат
И неотступные, и злые угрызенья.
Дрожу в лесу, как трус, который привиденья
Боятся или ждет неведомых засад.

Молчанье черное и черный мрак роняя,
Все ветви зыблются, подобные волне,
Угрюмые, в своей зловещей тишине
Глубоким ужасом мне сердце наполняя.

А летним вечером зари румяной лик,
В туманы серые закутавшись, пышет
Пожаром, кровью в них, и жалобою дышит
К вечерне дальний звон, как чей-то робкий крик.

Горячий воздух так тяжел; сильнее и чаще
Колышутся листья развесистых дубов,
И трепет зыблет их таинственный покров
И разбегается в лесной суровой чаще.

Приходит ночь. Сова летит. Вот час, когда
Припоминается старинное преданье.
В лесу, внизу, звучит чуть слышное журчанье
Ручья, как тихий шум злодейского гнезда.

ИЗ КНИГИ «ЛЮБЕЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ»

(1869)

ЛУННЫЙ СВЕТ

Твоя душа — та избранная даль,
Где маски мило пляшут бергамаску.
Причудлив их наряд, а все ж печаль,
Звуча в напеве струн, ведет их пляску.

Амура мощь, безоблачные дни
Они поют, в минорный лад впадая,
И в счастье не веруют они,
В лучи луны романсы облакая.

И льются в тихий, грустный свет луны
Мечтанья птиц среди ветвей и взлеты
К луне светло рыдающей волны,
Меж мраморов большие водометы.

НА ТРАВЕ

Аббат хмелен. Маркиз, ого!
Поправить свой парик сумей-ка.
— Вино из Кипра, Камарго,
Не так пьянит, как ваша шейка.

— Огонь мой... — До, ми, соль, ля, си.
— Аббат, ты распахнул сутану.
— О дамы, черт меня носи,
Коль с неба звезд вам не достану.

— Собачкой стать бы — не беда.
— Одну, другую, поцелуем
Пастушек наших. — Господа!
— До, ми, соль. — Эй, луна, пируем!

В ПЕЩЕРЕ

О, как вы мучите сердца!
Умру пред вашими ногами.
Тигрицу Гирканіи сравнивая с вами,
Скажу: ты — кроткая овца!

Да, здесь, жестокая Климена,
Тот меч, который метче стрел
От Сципионов, Киров жизнь отнять умел,
Освободит меня из плена.

Да и не он мне путь открыл
На элизийские поляны,
Лишь взор мне ваш блеснул, — стрелою острой, рдяной
Амур мне сердце поразил.

ФАВН

Плешивый фавн из темной глины,
Плохой конец благих минут
Вещаю нам, среди куртины
Смеется дерзко, старый плут,

И Клеопатру встарь — словам моим внемли! —
Антоний с Цезарем любить так не могли.
Не сомневайтесь, сумею я сражаться,
Как Цезарь, только бы улыбки мне дожждаться.
И, как Антоний, рад к лобзанию убежать.

Ну, милая, прощай. Довольно мне болтать.
Пожалуй, длинного ты не прочтешь посланья,
Что ж время и труды мне тратить на писанья?

ИЗ КНИГИ «ДОБРАЯ ПЕСНЯ»

(1870)

* * *

На солнце утреннем пшеница золотая
Тихонько греется, росой еще сверкая.
Ночною свежестью лазурь еще ясна.
Выходишь из дому, хоть незачем; видна
На волнах зыбких трав, текущих вдаль, желтея,
Ольхами старыми обросшая аллея.
Дышать легко. Порой, слетавши в огород,
Соломинку несет пичужка или плод;
За нею по воде мелькание отсвета.
Вот все.

Мечтателю мила картина эта,
Внезапной ласкою обвившая мечты
О счастья радостном, о чарах красоты,
Взлепявшая вновь и нежные напевы,
И ясный блеск очей — весь облик юной девы,
Которой жаждет муж, которую поэт
Зовет обетами, — пусть им смеется свет,
Подруга наконец нашлась, которой вечно
Душа его ждала, тоскуя бесконечно.

* * *

Все прелести и все извивы
Ее шестнадцатой весны
По-детски простодушно живы
И нежностью упоены.

Очами райского мерцанья
Она умеет, хоть о том
Не думает, зажечь мечтанья
О поцелуе неземном,

И этой маленькой рукою,
Где и колибри негде лечь,
Умеет сердце взять без бою
И в безнадежный плен увлечь.

Душе высокой в помощь разум
Приходит, чтобы нас пленить
Умом и чистотою разом:
Что скажет, так тому и быть!

И если жалости не будит
Безумство в ней, а веселит,
То музой благосклонной будет
Она, и дружбой наградит,

И даже, может быть, — кто знает! —
Любовью смелого певца,
Что под окном ее блуждает
И ждет достойного венца

Для песни милой иль нескромной,
Где ни один неверный звук
Не затемняет страсти томной
И сладостных любовных мук.

* * *

Пока еще ты не ушла,
Звезда, бледна в тумане,
— Перепела
Поют, поют в тимьяне. —

Брось на поэта, в чьих очах
Огни любви зардели,
— В дневных лучах
Вот жаворонка трели, —

Твой взор, который поглотит
Заря лазурью неба.
— Восторг царит
Над зрелой нивой хлеба. —

Зажги мечту мою потом
Над дальним, дальним долом,
— Роса кругом
В сверкании веселом. —

Над спящей милою моей
В пленительном покое.
— Скорей, скорей:
Вот солнце золотое!

* * *

Ночной луною
Бледны леса,
И под листвою
Все голоса
Несутся, тая...

О, дорогая.

Пруда отсветы —
Стекла разлив.
Там силуэты
От черных ив
И ветра слезы...

Вот час для грезы.

В дыханьях нежных
Идет покой
С высот безбрежных
Горы ночной,
Где звезд мерцанья...

Час обаянья.

* * *

Песня, улетай скорее,
Встреть ее и молви ей,
Что, горя все веселее
В сердце верном, рой лучей

Топит в райском озареньи
Всякую ночную тень:
Недоверье, страх, сомненье —
И восходит ясный день!

Долго робкая, немая,
Слышишь? В небе радость вновь,
Словно птичка полевая,
Распевает про любовь.

Ты скажи в краю далеком,
Песнь наивная моя, —
Встречу лаской, не упреком,
Возвратившуюся я.

* * *

Вчера среди ничтожных разговоров
Мои глаза искали ваших взоров;

Ваш взор блуждал, ища моих очей,
Меж тем бежал, струясь, поток речей.

Под звуки фраз обычного закала
Вкруг ваших дум любовь моя блуждала.

Рассеянный, ловил я вашу речь,
Чтоб тайну дум из быстрых слов извлечь.

Как очи, речи той, кто заставляет
Быть грустным иль веселым, открывают —

Как ни спешу насмешливою быть —
Все, что она в душе желает скрыть.

Вчера ушел я, полный упоенья:
И тщетная ль надежда наслажденья

В моей душе обманчивый льет свет?
Конечно, нет! Не правда ли, что нет?

* * *

Очаг, и тесное под лампою мерцанье;
С ладонью на виске отрадное мечтанье;
Блужданье страстных глаз в лазури милых глаз;
И чай дымящийся, и книг закрытых час;
И сладость чувствовать конец беседы нежной,
И томность легкая, и к вам порыв мятежный,
О, тени брачные и сладостная ночь, —
Для этого мечта стремилась превозмочь
Отсрочки тщетные, и к вожденной цели
Тянулись месяцы и мчались недели.

* * *

Почти боюсь, — так сплетена
Вся жизнь была минувшим летом
С мечтой, блистающею светом,
Так вся душа озарена.

Ваш милый лик воображенье
Не утомляется чертить.
Вам нравится и вас любить —
Вот сердца вечное стремленье.

Простите, — повторю, смущен,
Слова признания простого —
Улыбка ваша, ваше слово
Отныне для меня закон.

И вам довольно только взгляда
Или движенья одного,
Чтобы из рая моего
Меня повергнуть в бездну ада.

Но лучше мне от вас бежать,
И пусть бы душу ожидали
Неисчислимыя печали,
Я не устану повторять,

Встречая в счастья высоком
Надежд неизмеримый строй:
«Я вас люблю, я — вечно твой,
Не побежден суровым роком!»

* * *

Так, солнце, общник радости моей,
Поможет, знаю, летним полднем ясным
Стать вашей милой красоте, в атласном
Иль шелковом плену, еще милей;

Лазурь сольется в пышность трепетанья,
Шатер высокий в складках без границ,
И всю отгонит кровь от наших лиц
Волненье счастья и ожиданья;

А вечером спокойный звездный строй
Супругам благосклонно улыбнется
И вашу вуалью обовьется,
Играя нежно, ветерок ночной.

* * *

Зима прошла: лучи в прохладной пляске
С земли до ясной тверди вознеслись.
Над миром разлитой безмерной ласке,
Печальнейшее сердце, покорись.

Вновь солнце юное Париж встречает, —
К нему, больной, нахмуренный от мук,
Безмерные объятия простирает
Он с алых кровель тысячами рук.

Уж целый год душа цветет весною,
И, зеленея, нежный флореаль
Мою мечту обвил иной мечтою,
Как будто пламя в пламенный вуаль.

Венчает небо тишь голубою
Мою смеющуюся там любовь.
Весна мила, обласкан я судьбою,
И оживают все надежды вновь.

Спешите к нам, лето! В смене чарований
За ним сменяйтесь, осень и зима!
Хвала тебе, создавшему все грани
Времен, воображенья и ума!..

ИЗ КНИГИ «РОМАНСЫ БЕЗ СЛОВ»

(1874)

Le vent dans la plaine
Suspend son haleine.

*Favart**

* * *

Это — нега восхищенья,
Это — страстные томленья,
Это — трепеты лесов,
Свежим веяньем объятых,
Это — в ветках сероватых
Хор чуть слышных голосов...

О прохладный, слабый ропот!
И чириканье, и шепот,
Ветер веет над травой,
Вопли нежные срывая...
Ты сказала б: то глухая
Качка камней под водой...

В этой жалобе ленивой
Слышен плач души тоскливой, —
Ах, не нашей ли души?
Не моя ль с твоей, скажи мне,
Тихо млеют в кротком гимне
Влажным вечером в тиши?

* Ветер над долиной затаил дыханье. Ф а в а р
(франц.).

* * *

Я угадываю сквозь шептанья
Тонкий очерк голосов летийских
И в сиянии светов мусикийских
Бледную любовь, зарю мечтанья!

Сердце и душа томятся жаждой, —
В них дано не зренье ль мне двойное,
Где дрожат сквозь марево дневное
Песенки, увы! от лиры каждой?

Умереть бы так, как отлетели
Те часы изгнания и рая,
Что Амур качал, мне угрожая!
Умереть бы в этой колыбели!

* * *

В слезах моя душа,
Дождем заплакан город,
О чем, тоской дыша,
Грустит моя душа?

О, струи дождевые
По кровлям, по земле!
В минуты, сердцу злые,
О, песни дождевые!

Причины никакой,
Но сердцу все противно.
К чему же траур мой?
Измены никакой.

Нет горше этой муки,
Не знаешь почему,
Без счастья, без разлуки,
Так много в сердце муки!

* * *

Знайτε, надо миру даровать прощенье,
И судьба за это счастье нам присудит.
Если жизнь пошлет нам грозные мгновенья,
Что ж, поплачем вместе, так нам легче будет.

Мы бы сочетали, родственны глубоко,
С детской простотою кротость обещања
От мужей, от жен их отойти далеко
В сладостном забвеньи горестей изгнанья.

Будем, как две девы, — быть детьми нам надо,
Чтоб всему дивиться, малым восхищаться,
И увянуть в тенях непорочных сада,
Даже и не зная, что грехи простятся.

* * *

В полях кругом
В тоске безбрежной
Снег ненадежный
Блестит песком.

Как пыль металла,
Лазурь тускла.
Луна блуждала
И умерла.

Дрожат, как спьяна,
В дубраве той
Дубы толпой
Среди тумана.

Как пыль металла,
Лазурь тускла.
Луна блуждала
И умерла.

О ворон жадный
И тощий волк,
Что ждет ваш полк
Зимой нещадной?

В полях кругом
В тоске безбрежной
Снег ненадежный
Блестит песком.

* * *

Деревьев тень в реке упала в мрак туманный,
Словно в саван, дымом тканый,
И плачет в воздухе там, с веток настоящих,
Песня горлинок неспящих.

Так метко отражен в картине этой бледной
Ты, сам бледный, странник бедный,
И высоко в листве заплакали, так жалки,
Всех твоих надежд русалки!

БРЮССЕЛЬ

ПРОСТЫЕ ФРЕСКИ

I

И холмы, и долов дали
В розы, в прозелень одеты.
Лампы зыбко в полусветы
Очертанья все смешали.

На смиренные пучины
Кровь сквозь золото пылает.
На деревьях без вершины
Птичка слабо запеваet.

Так душе моей знакомы
Лики осени докучной.
Ветер все мои истомы
Убаюкал, однозвучный.

II

Вижу даль аллеяй.
Небо, быть светлей
Можно ль небесам?
В тайный свой приют
Нас кусты зовут, —
Знаешь, мило там.

Входит много бар —
Сам Ройе-Колар
С ними рад дружить —
Под дворцовый кров.
Этих стариков
Можно ль не почтить?

Весь дворец был бел,
А теперь зардел, —
То заката кровь.
Все поля кругом.
Пусть найдет свой дом
Наша там любовь.

*Estaminet,
Maison Jeune Renard,
août 1872**

* Эстамине. Дом Жеана Ренарда, август
1872 (франц.)

МУРАВА

Вот ветки с листьями, с цветами и плодами,
И сердце — только вам его я посвятил.
Его ли растерзать вам белыми руками!
Да будет скромный дар глазам, столь ясным, мил.

Я прихожу, еще обветренный с дороги
И весь обрызганный холодной росой.
Усталости моей позвольте ваши ноги
Обвить мечтаньями, дарящими покой.

На грудь к вам головой склониться не мешайте,
Лобзанья звучного я не успел забыть.
Мне успокоиться от милой бури дайте
И в вашей тишине недолгий сон вкусить.

СПЛИН

Алеют слишком эти розы,
И эти хмели так черны.

О дорогая, мне угрозы
В твоих движениях видны.

Прозрачность волн, и воздух сладкий,
И слишком нежная лазурь.

Мне страшно ждать за лаской краткой
Разлуки и жестоких бурь.

И остролист, как лоск эмали,
И букса слишком яркий куст,

И нивы беспредельной дали —
Все скучно, кроме ваших уст.

УЛИЦЫ

I

Станцуем джигу!

Любил я блеск ее очей.
Они небесных звезд светлей,
И много ярких в них огней.

Станцуем джигу!

С влюбленными она была,
Неотразимая, так зла
И в самой злости так мила!

Станцуем джигу!

Но розы уст милей цветут,
Когда уйдем из хитрых пут,
Когда мечты о ней умрут.

Станцуем джигу!

И вспоминать мне много лет
Часы любви, часы бесед, —
Ах, лучшей радости мне нет!

Станцуем джигу!

II

Как фантастично появленье
Реки среди улиц, и течение
Там за стеною футов в пять!
Она не плещет в берег мгlistый

Волною темною, но чистой,
Предместьям не мешает спать.

В разливе мертво-желтом, полном
Один лишь дым приникнет к волнам,
И пусть заря зажжет, скользя,
Коттеджи, желтый или черный,
За набережную просторной
Им отразиться в ней нельзя.

Paddington

РЕБЕНОК- ЖЕНЩИНА

Не понимали вы, как я был прост и прав,
О бедное дитя!
Бежали от меня, досаде волю дав,
Судьбой своей шутя.

Лишь кротость отражать, казалось бы, очей
Лазурным зеркалам,
Но столько желчи в них, сестра души моей,
Что больно видеть нам.

Руками нежными так замахали вы,
Как взбешенный герой,
Бросая резкий крик, чахоточный, увы!
Вы, в ком напевный строй!

Насмешливых и злых боитесь вы, и гром
Заставит вас дрожать,
Овечка грустная, — вам плакать бы тайком,
Обнявши нежно мать.

Любви не знали вы, — несет и свет, и честь
Бестрепетно она,
Спокойна в добрый час, но крест умеет несть
И в смертный час сильна.

БЕДНЫЙ МОЛОДОЙ ПАСТУХ

Поцелуя боюсь,
Как пчелиного жала, —
Изнываю, томлюсь,
Даже сплю очень мало:
Поцелуя боюсь.

Все же Катю люблю я, —
Катя — снега белей;
Вспоминаю, тоскуя,
Ласку милых очей, —
Нежно Катю люблю я.

Валентинова дня
Целования с нею
Я боюсь как огня.
Я робею, робею
Валентинова дня.

Жду минуту венчанья,
Катя будет моя.
Но какие страданья
Пережить должен я
До минуты венчанья!

Поцелуя боюсь,
Как пчелиного жала, —
Изнываю, томлюсь,
Даже сплю очень мало:
Поцелуя боюсь.

СИЯНИЯ

Был ветер так нежен, и даль так ясна.
Ей плыть захотелось в открытое море.
За нею плывем мы, с шалуньей не споря.
Соленая нас охватила волна.

На тверди безоблачной солнце сияло
И золотом рдело в ее волосах,
И тихо качалась она на волнах,
И море тихонько валы развивало.

Неспешные птицы вились далеко,
Вдали паруса, наклоняясь, белели,
Порой водоросли в воде зеленели, —
Мы плыли уверенно так и легко.

Она оглянулася с кроткой улыбкой,
Не веря, что мы не боимся волны,
Но радостью плыть с ней мы были полны, —
Плывет она снова дорогою зыбкой.

*Douvres-Ostende,
à bord de la Comtesse de Flandre,
4 avril 1873.**

* Дувр-Остенде, на борту «Графини Фландрии»,
4 апреля 1873 (франц.).

ИЗ КНИГИ «МУДРОСТЬ»

(1881)

* * *

Меня в тиши Беда, злой рыцарь в маске, встретил
И в сердце старое копьё свое уметил.

Кровь сердца старого багряный мечет взмах
И стынет, дымная, под солнцем на цветах.

Глаза мне гасит мрак, упал я с громким криком,
И сердце старое мертво в дрожаньи диком.

Тогда приблизился и спешился с коня
Беда, мой рыцарь злой, и тронул он меня.

Железом скованный, влагая перст глубоко
Мне в язву, свой закон вещает он жестоко,

И от касания холодного перста
И сердце ожило, и честь, и чистота,

И, к дивной истине так пламенно-ревниво,
Вновь сердце молодо в груди моей и живо.

Дрожу под тяжестью сомнений и тревог,
Но упоен, как тот, кому явился бог.

А добрый рыцарь мой на скакуна садится,
Кивает головой пред тем, как удалиться,

И мне кричит (еще я слышу голос тот):
— Довольно в первый раз. Но берегись вперед!

* * *

И красота, и слабость женщин, их печали,
И руки бледные, источник благ и зла,
Глаза, где жизнь почти все дикое сожгла,
Оставив то, пред чем мучители дрожали,

И с лаской матери, когда бы даже лгали
Уста, всегда их голос! При́зыв на дела,
Иль добрый знак, иль песнь, когда застигнет мгла,
Или рыданье, умершее в складках шали!..

Как люди злы! Как жизнь нелепа и груба!
Ах! Если б нам не поцелуи, не борьба,
Осталось нечто доброе в верховном круге,

Что зародилось в сердце детском и простом,
И честь, и милость! Это — верные подруги,
Иное что останется, когда умрем?

* * *

Послушай нежной песни лепет.
Она заплачет, утешая,
Такая скромная, простая,
Как ручейка над мхами трепет.

Нам ведома и вожденна,
Теперь она звучит из дали,

И, как вдова из-за вуали,
Глядит печально, но надменно.

Злой ветер, налетая с ревом,
Не вскрыет тайны покрывала,
Но сердцу ясен блеск фиала
Небесной правды над покровом.

Нам ведомая, повторяет,
Что наша ненависть и злоба
Бесследно канут в бездну гроба,
И лишь добро не умирает,

И, говорит, какая радость —
Простая жизнь без ожиданья,
И ясным золотом венчанье,
И мира без победы сладость.

Звучит, с холодным ветром споря,
Наивная эпиталама;
Великолепнее нет храма,
Чем храм утешенного горя.

Подобна страннице бездомной
Душа, безгневная в томленьи.
Как ясны все ее ученья!
Внимай урокам песни скромной.

* * *

Как нежно вы меня ласкали
Так незадолго до разлуки,
О эти маленькие руки,
Которыми мои печали,

Мои томленья и скитанья
И в близких, и в далеких странах

Под ясным солнцем и в туманах
Преображались в мечтанья!

Все к ним тоска моя стремится,
Но разгадаю ли их знаки
Душе, которая во мраке
Зловещем никнет и томится?

О непорочное виденье,
Приходишь ли ты с вестью верной
О нашей родине безмерной,
Где тесное соединенье?

О руки, власть благословенья,
И скорбь, и кроткие упреки,
И освященные зароки,
О, дайте, дайте знак прощенья!

* * *

Сын громадных поселений
И презренных возмущений,
Здесь я все, о чем мечтал,
Отыскал и все познал,
Но все — призрак, все убого,

Все спешило отцвести.
Я легко сказал «прости»
Наслажденью, даже счастью,
С каждой*я расстался страстью
Вне тебя, мой милый бог!

Поднял крест меня на крылья,
Дал мне лучшие усилия
Устремляться к чистоте,

К тишине, к святой мечте
Целомудренно и строго.

Умиление, мне подай
Сладких рос отрадный рай,
Погрузи в живую воду,
Сердцу дай одну свободу —
Умереть у божьих ног!

* * *

Я в черные дни
Не жду пробужденья.
Надежда, усни,
Усните, стремленья!

Спускается мгла
На взор и на совесть.
Ни блага, ни зла, —
О, грустная повесть!

Под чьей-то рукой
Я — зыбки качанье
В пещере пустой...
Молчанье, молчанье!

* * *

Над кровлей небо лишь одно —
Лазурь яснее.
Над кровлей дерево одно
Вершиной веет.

И с неба льются мне в окно
От церкви звоны,

И с дерева летят в окно
Мне птичьи стоны.

О боже, боже мой, все там
Так просто, стройно,
И этот мирный город там
Живет спокойно.

К чему теперь, подумай сам,
Твой плач унылый,
И что же сделал, вспомни сам,
Ты с юной силой?

ИЗ КНИГИ «КОГДА-ТО И НЕДАВНО»

(1885)

КАЛЕЙДОСКОП

В том городе в мучительной земле
Настанет вновь, как встарь жилось кому-то,
И страшная, и горькая минута.
О, это солнце, скрытое во мгле!

О, этот крик в морях! О, вопль дубравный!
Как в старину, проснется не спеша,
Перерожденья кончивши, душа
И мир найдет, былому миру равный,

В той улице средь города мечты,
Где в ночь орган сыграет плясовую,
Где будет музыка напропалую,
Где замурлычат в лавочках коты.

Все неизбежно будет, как могила:
Вдоль щек смиренные потоки слез,
Рыданья смеха в трескотне колес
И зовы: «Смерть, хоть ты б освободила!»

Букет увялый, древний перепев!
Народный бал опять назойлив станет.
Вдова повязкою свой лоб затянет,
Да и пойдет в среде продажных дев,

Что шляются с толпою развращенной
Мальчишек и поганных стариков,
И ротозеи треском бураков
Потешатся на площади зловонной.

И будет так, как будто кто заснул,
Едва проснувшись, — и опять он в этом
Волшебном мире, убаюкан летом
Под шум травы и пчел волнистый гул.

ПЬЕРО

Уж не такой, как встарь, мечтавший под луной,
Смешивший прадедов с высокого балкона,
К нам с мертвою свечой, со смехом горше стона
Приходит призраком он, бледный и худой,

И, ветром взвеванный среди грозы ночной,
В протяжном ужасе цвет блеклый балахона
Подобен савану; уста, как рот дракона,
Который корчится от муки гробовой.

Он белым рукавом, шумящим мягко в мраке,
Как крылья птиц ночных, дает такие знаки,
Что кто б ответить мог мельканьям странных рук?
В пещере глаз больших таятся фосфор; тлея,
Лицо и острый нос для нас еще страшнее,
Мукой осыпаны, как пылью смертных мук.

* * *

О, что в душе моей поет,
Когда с рассудком я в разлуке?
Какие сладостные звуки!
То кровь поет и вдаль зовет.

То кровь и плачет, и рыдает,
Когда душа умчится вдруг,
Неведомый услышав звук,
Который тотчас умолкает.

О кровь из виноградных лоз!
О ты, вино из вены черной!
Играйте, пойте! Чары грез
Несите нам! Четой проворной
Гоните душу, память прочь,
И на сознание киньте ночь.

ИЗ КНИГИ «ПЕСНЯ ДЛЯ НЕЕ»
(1891)

* * *

Вот осень наступила
И строго запретила
Привычки лета длить.
Холодные недели
Загонят нас в постели,
Ласкаться и любить.

А летом — что за скука!
Одна и та же мука:
«Ах, душно мне, — заснем!»
Не жизнь, а сна вериги.
Мы скучны, точно книги.
Вот осень, отдохнем.

Как угли в печке рдеют,
Уста у нас алеют,
Зима ведет любовь,
И запылаем сами
Мы пламенней, чем пламя,
И пламенней, чем кровь.

* * *

Я не имею
Копейки медной за душой,
Но я владею,
Моя проказница, тобой...

С игрой и с пляской
Творишь ты радостный обряд.
Какою лаской
Твои слова всегда горят!

Внимаю ль речи
Твоей живой, ловлю ль твой взгляд,
Нагие ль плечи
Твои целую, — я богат.
На отдых нежный
Склонился я — и вмиг весь пыл
На белоснежной
Твоей груди восстановил.

Конечно, мало,
Увы! любим тобою я:
Ты изменяла
Мне часто, милая моя.
Но что за дело
Мне до измен твоих, когда
Ты завладела
Моей душою навсегда!

* * *

Не надо ни добра, ни злости,
Мне дорог цвет слоновой кости
На коже ало-золотой.
Иди себе путем разврата,
Но как лелеют ароматы
От этой плоти, боже мой!

Безумство плоти без предела,
Меня лелеет это тело,
Священнейшая плоть твоя!
Зажженный страстностью твоею,
От этой плоти пламенею,
И, черт возьми, она — моя!

До наших душ нам что за дело!
Над ними мы смеемся смело, —
Моя душа, твоя душа!
На что нам райская награда!
Здесь, на земле, любить нам надо,
И здесь нам радость хороша.

Но здесь нам надо торопиться,
Недолгим счастьем насладиться,
Самозабвение вкусить.
Люби же, злая баловница,
Как льются воды, свищет птица, —
Вот так и мы должны любить.

* * *

Я не люблю тебя одетой, —
Лицо прикрывши вуалетой,
Затмишь ты небеса очей.
Как ненавистны мне турнюры,
Пародии, карикатуры
Столь пышной красоты твоей!

Глядеть на платье мне досадно —
Оно скрывает беспощадно
Все, что уводит сердце в плен:
И дивной шеи обаянье,
И милых плеч очарованье,
И волхование колен.

А ну их, дам, одетых модно!
Спешу прекрасную свободно,
Сорочка милая, обнять,
Покров алтарный мессы нежной
И знамя битвы, где, прилежный,
Не уставал я побеждать.

ВАРИАНТЫ

ЛУННЫЙ СВЕТ

Твоя душа как тот заветный сад,
Где сходятся изысканные маски.
Разряжены они, но грустен взгляд,
Печаль в напеве лютни, в шуме пляски.

Эрота мощь, безоблачные дни
Они поют, в минорный лад впадая,
И в счастье не веруют они,
И, песню их с лучом своим свивая,

Луна лесам и сны, и грезы шлет,
Луна печальная — семье пернатой,
И рвется к ней влюбленный водомет,
Нагими мраморами тесно сжатый.

НОЧНОЙ ЛУНОЮ

Белая луна
Сеет свет над лесом.
Звонкая слышна
Под его навесом
Песня соловья...

Милая моя!

Ветер тихо плачет
В ветках над рекой,
А внизу маячит,
Отражен водой,
Темный ствол березы...

Вспомним наши грезы.

Сходит к нам покой,
Нежный, бесконечный,
С тверди голубой,
Где сияет вечный,
Тихий звездный строй...

В этот час ночной.

ПЕСНЯ, УЛЕТАЙ СКОРЕЕ

Лети ты, песенка, скорей
Навстречу ей с моим приветом.
Скажи, что в сердце, верном ей,
Светился луч веселым светом,

Все расточая в глубинах,
Что нежную любовь смущает:
Сомненье, недоверье, страх, —
И вот уж ясный день сияет.

Ты слышишь? Радость говорит,
Так долго робкая, немая,
И к ясным небесам летит,
Как жаворонок распевая.

Лети же, песенка моя, —
Разлуки с нею время минет,
Она далекие края
Без сожаления покинет.

ОЧАГ, И ТЕСНОЕ ПОД ЛАМПОЮ МЕРЦАНЬЕ

Тесный, светлый круг под лампой; очага мерцанье;
На ладонь виском прилягу; тихое мечтанье;
Взор, блуждающий в лазури ненаглядных глаз;
Час дымящегося чая, книг закрытых час;
Радость чувствовать душою вечера склоненье;
Восхитительная томность, страстное хотенье,
Чтоб упала брачной ночи сладостная тень, —
Вот к чему мечтою нежной каждый божий день
Я без усталости стремился месяцы, недели,
И в отсрочках беспрестанных грезы не хладели.

ТАК, СОЛНЦЕ, ОБЩНИК РАДОСТИ МОЕЙ

То будет жарким летом, в полдень ясный:
Сдружится солнце с радостью моей,
И новый блеск придаст красе твоей
В волнах одежд шелковой и атласной.

Как на шатре, на небе голубом
Роскошно всюду складки затрепещут,
Надеждою глаза у нас заблещут,
И счастье промчится над челом.

И нежный ветер к вечеру проснется,
Твою вуаль колыша и струя,
И мирных звезд далекая семья
Супругам благосклонно улыбнется.

ЗИМА ПРОШЛА

Прошла зима, и теплое сиянье
Меж яеной твердью и землей дрожит,

И разлитое в небе обаянье
Печальнейшее сердце покорит.

И сам Париж, больной и злой, встречает
Румяную зарю, как верный друг,
И, кажется, объятая простирает
С румяных кровель тысячами рук.

Уж целый год душа цветет весною,
Прелестный май опять несет цветы,
И, как огонь к огню течет рекою,
К моей мечте приводит он мечты.

Невозмутимая лазурь широко
Блестит, — смеется в ней моя любовь.
Весна прекрасна, счастлив я глубоко,
И к цели близки все надежды вновь.

Пусть весна пройдет, пройдет и лето,
За осенью воротится зима, —
Мне радостны все перемены света,
Краса воображенья и ума.

Я УГАДЫВАЮ СКВОЗЬ ШЕПТАНЬЯ

Мне кротко грезится под шепотом ветвей
Былых бесед живое очертанье;
Предчувствую сквозь звучное мерцанье,
О бледная любовь, зарю грядущих дней.

Моя душа и сердце бредом жарким
Слиты, как глаз двойной, — увы, трепещет в нем
Неведомая песнь и непогодным днем
Со всех сторон звучит призывом ярким.

О, если бы теперь пришла ты, смерть моя,
Пока любовь колеблется с тоскою
Меж старых снов и жизнью молодою!
О, как бы в зыбке той неслышно умер я!

В СЛЕЗАХ МОЯ ДУША

Слезы в сердце моем, —
Плачет дождь за окном.
О, какая усталость
В бедном сердце моем!

Шуму проливня внемлю, —
Бьет он кровлю и землю,
Много в сердце тоски, —
Пенью проливня внемлю.

Этих слез не пойму, —
Не влечет ни к чему
Уж давно мое сердце,
Что жалеть, не пойму.

Тяжелей нет мученья —
Без любви, без презренья, —
Не понять, отчего
В сердце столько мученья.

2 вариант

На сердце слезы упали,
Словно на улицу дождик.
Что это, что за печали
В сердце глубоко упали?

Дождика тихие звуки,
Шум на земле и по крышам,

Сердцу в томлениях скуки,
О, мелодичные звуки!

Слезы твои без причины,
Сердце, — ведь ты же боролось
С непостоянством судьбины!
Траур надет без причины.

Вряд ли есть худшее горе:
Даже не знать, отчего же,
Не примиряясь, не споря,
Сердце исполнено горя.

ЗНАЙТЕ, НАДО МИРУ ДАРОВАТЬ ПРОЩЕНЬЕ

Возлагать не будем друг на друга путы, —
Это соблюдая, счастливы мы станем;
Если жизнь пошлет нам грозные минуты,
Что ж, поплачем вместе, да и перестанем.

Родственные души, свой обет неясный
Сочетать должны мы с кротостью наивной,
И, толпы чуждаясь, мы четой согласной
Побредем в забвеньи жизни, нам противной.

Будем, как малютки, будем, как девицы, —
Все их удивляет, их пустяк пленяет.
Поблуднев под тенью отчей смоковницы,
Что они невинны, ни одна не знает.

2 вариант

Научися, мой друг, забывать и прощать.
Вот тогда мы с тобою счастливыми будем.

Если жизнь нам захочет печали послать,
Мы заплачем легко, и легко позабудем.

Души — сестры у нас, — примешаем легко
Мы к обетам своим юных дней наслажденье —
От мужей и от жен уходить далеко,
И вражде в нас ответит лишь холод забвенья.

Будем верной четой, как чета этих дев,
Что в пустяк влюблены и всему-то дивятся
И, под девственной сенью грабин побледнев,
Даже знают навряд, что грехи им простятся.

ДЕРЕВЬЕВ ТЕНЬ В РЕКЕ УПАЛА В МРАК ТУМАННЫЙ

Встает туман с реки, и тень деревьев тонет,
Как в дымные струи,
А наверху в ветвях рой горлиц грустно стонет
Про бедствия свои.

О странник, бледен ты, бледна вокруг долина,
Как здесь на месте ты!
Как плачет над тобой в ветвях твоя кручина
Про мертвые мечты!

2 вариант

Тени ив погасли за туманною рекою,
Как за дымной пеленою,
Между тем ты слышишь там вверху, на этих ивах,
Пенье горлинок тоскливых.

Как тебе он близок, этот вид природы бледной,
Как и ты, о странник бедный!

Не твои ль надежды плачут там в листве высокой
Над тобою, одинокий?

3 вариант

С реки туман встает как дым,
И тонет тень деревьев за ним,
А в ветках птицы там и тут
О чем-то жалобно поют.

Как эта ночь тебе родна,
О странник, бледный, как она!
Как жалко плачет над тобой
Твоих надежд погибших рой!

ПРОСТЫЕ ФРЕСКИ

В дали зелено-красной
Долины и холмы
Под дымкой полутьмы
Бегут чредой неясной.

На золоте пучин
Все больше красных полос.
В деревьях без вершин
Чуть слышен птичий голос.

Приметы сглажены слегка
Поры осенней, скучной,
И песней однозвучной
Рассеяна тоска.

2 вариант

В зелено-алой дали
Долины тонут и холмы,

И лампы с морем зыбкой тьмы
Свой слабый свет смешали.

Сквозят из тканей золотых
Кровавые пучины,
И голос слабой птицы тих
В деревьях без вершины,

И осень прячется слегка
С медлительностью скучной,
И грезит томная тоска
Под шепот однозвучный.

МУРАВА

Покорно приношу с цветами и плодами
Я сердце вам мое, что бьется лишь для вас.
О, не разбейте сердце белыми руками,
Да будет мил мой дар для ваших нежных глаз.

Я к вам пришел, покрыт предутренней росой,
С челом, обвеянным дыханием ветров.
Склонясь у ваших ног, предамся я покою,
С мечтой о прелестях пленительных часов.

Позвольте мне на грудь к вам головой склониться.
Последний поцелуй звучит еще на ней.
У сердца вашего позвольте мне забыться,
Забыться вашим сном, от непогодных дней.

СПЛИН

Розы были слишком красны,
Были так плющи темны!

Дорогая, как опасны
Эти прелести весны!

Небо сине, небо нежно,
В море блещет радость дня.

Я страдаю безнадежно, —
Вдруг покинешь ты меня!

Эти нивы без предела,
Эти яркие цветы —

Все мне страшно надоело,
Не наскучила лишь ты.

УЛИЦЫ

Ну-тка, спляшем джигу.

Любил я глазки голубые;
Они, как звездочки живые,
Горели, глазки эти злые.

Ну-тка, спляшем джигу.

Искусство было ей известно —
Озлить любовника чудесно,
И это было так прелестно!

Ну-тка, спляшем джигу.

Когда же страсть навек промчалась,
Еще прекрасней мне казалась
Ее цветущих губок алость.

Ну-тка, спляшем джигу.

О ней, о ней воспоминанья...
Те поцелуи, те свиданья —
Души благое достоянье.

Ну-тка, спляшем джигу.

НАД КРОВЛЕЙ НЕБО ЛИШЬ ОДНО

Небо там над кровлей
Ясное синеет.
Дерево над кровлей
Гордой сенью веет.

С неба в окна льется
Тихий звон и дальний.
Песня птички льется
С дерева печально.

Боже мой! Те звуки
Жизнь родит простая.
Кротко ропщут звуки,
Город оглашая:

«Что с собой ты сделал?
Ты богат слезами...
Что ты, бедный, сделал
С юными годами?»

2 вариант

Синева небес над кровлей
Ясная такая!
Тополь высится над кровлей,
Ветви наклоняя.

Из лазури этой в окна
Тихий звон несется.

Грустно с веток этих в окна
Песня птички льется.

Боже мой! Я звуки слышу
Жизни мирной, скромной.
Город шепчет мне, — я слышу
Этот ропот томный:

«Что ты сделал? Что ты сделал?
Исходя слезами,
О, подумай, что ты сделал
С юными годами?»

НЕ НАДО НИ ДОБРА, НИ ЗЛОСТИ

Непорочна ты иль нет,
Мне-то что за дело!
Вижу нежно-алый цвет
Молодого тела, —
Это — тихою зарей,
В милый час вечерний,
На вершине снеговой
Кущи роз без терний.
Сколько страсти и огня,
Сколько наслажденья
Принесла ты для меня
В ночь соединенья!
Души? Вечность? Вздор какой!
Нам-то что за дело!
Над нелепостью такой
Мы смеемся смело.
На земле себе найдем
Вечное жилище, —
Мы не на небо пойдем,
Только на кладбище.
Надо ж пользоваться здесь

Жизнью бысролетной
И до дна напитков весь
Выпить искрометный.
В дни желаний и страстей
Надо нам влюбляться,
Как рокочет соловей,
Как ручьи струятся.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Иннокентий Анненский

Из рецензии

«Разбор стихотворного перевода
лирических стихотворений Горация
П. Ф. Порфирова»

...Переводить лирика — труд тяжелый и чаще всего неблагодарный. Переводчику приходится, помимо лавирования между требованиями двух языков, еще балансировать между вербальностью и музыкой, понимая под этим словом всю совокупность эстетических элементов поэзии, которых нельзя искать в словаре. Лексическая точность часто дает переводу лишь обманчивую близость к подлиннику, — перевод является сухим, вымученным, и за деталями теряется передача концепции пьесы. С другой стороны, увлечение музыкой грозит переводу фантастичностью. Соблюсти меру в субъективизме — вот задача для переводчика лирического стихотворения.

Кажется, только Гейне до сих пор мы и переводили сносно, и то всего ли? Эмоциональность последнего романтика, пожалуй, еще его юмор, да, — но эстетизм Гейне до сих пор для нас *lettre close**.

Древний лирик вообще мало поддается переводам: от добросовестного перевода чаще всего пахнет пылью (и не олимпийской, увы!). Но при этом эллины все же нам ближе римлянам.

Куда же легче передавать Ваххилида, чем Тибулла! Не знаю только, связана ли наша большая чуткость к эллинизму с «психологией народов», или тут сказывается отдаленное культурное преемство. Но из римских лириков менее всего поддается переводу на русский язык, несомненно, Гораций, и особенно его оды. На это есть несколько причин.

* Нечто непонятное, «книга за семью печатями» (*франц.*).

1) Оды Горация — произведения зрелые и в своем роде совершенные.

2) Гораций сам был не только поэтом, но и переводчиком; он перелицовывал и стилизовал и ямбы Архилоха, и гимны Алкея, являясь поэтом, так сказать, вторичной формации, стилистом *par excellence**<...>.

3) В довольно сложной поэтической индивидуальности Горация очень мало черт, которые бы не шли вразрез с основными свойствами русской поэзии, поскольку она до сих пор определилась. Гораций, может быть, самый блестящий представитель поэтического *terre-à-terre*** , тогда как у нас дидактизм почти всегда отличался прозаичностью, а эпикурейство — или мертвенной театральностью, или наивным сластолюбием. Наша лирика чаще всего или эмоциональна, или метафизична (*cum grano salis!*)***. Юмор Горация не имеет себе подобного между русскими формами юмора, хотя мы ими и богаты: в нем больше интеллектуальности и ясности, чем задушевности. Я уже не говорю о *pointe***** Горация. Многие ли ее чувствуют и кто сумеет ее передать?

4) Текст Горация далеко не везде ясен. Над ним трудился Бентли, но трудился и Пеерлькамп. Сопоставьте наудачу десять более или менее загадочных мест у Кисслинга и у Шютца, и в девяти они, наверное, дадут диаметрально противоположное толкование.

Позволю себе остановиться теперь на несколько минут над тем, как, по-моему, надо переводить древнего лирика <...>.

1) По окончании работы чисто филологической стихотворение должно быть понято в целом, если в нем отразился известный лирический момент (настроение), или в гармонии элементов, если пьеса представляет из себя нечто планомерное (напр., *Donec gratus eram tibi******). Без этого пьесы не стоит и переводить.

2) Из целостного понимания пьесы определяются те ее детали (слова или выражения, звуковые символы или синтаксические сочетания), от которых особенно зависит красота, колоритность или *pointe* пьесы, — для них должны быть подысканы более или менее

* По преимуществу (*франц.*).

** Будничности (*франц.*).

*** Говоря осторожно! (*лат.*).

**** Остроумии (*франц.*).

***** Мил доколе я был тебе (*лат.*).

естественные соответствия из области языка наших чувств (т. е. естественной речи).

3) Выбор размера не должен быть случайным. Против переводов размером подлинника говорили многие и многое. Особенно суров был Виламовиц, сам даровитый и смелый переводчик греческих трагедий. Во всяком случае, размер не должен оскорблять нашего уха и ритмического чувства — это главное. Не надо, однако, отчаиваться в том, что между нашими ритмическими волнами и метрами античных поэтов может быть установлено большее соответствие. Слух можно ведь и воспитывать, а наши дактили в конце строки еще мало разработаны.

Звуковая символика и рифма очень ценны в переводах, но они должны быть искусны и интересны.

4) Достоинством и красотой русской речи, в стихотворном языке особенно, нельзя жертвовать ничему.

Иннокентий Анненский

Из статьи

«О современном лиризме»

...В заключение о Сологубе — хорошо бы было сказать мне и о том, как он переводит. Но лучше, пожалуй, не надо. Пусть себе переводит стихи Верлена; это делает не Сологуб-поэт, а другой — внимательный и искусный переводчик. А того, лирика-Сологуба, — и самого нельзя перевести. Разве передашь на каком-нибудь языке хотя бы прелесть этих ритмических вздыманий и падений Сологубовски-безрадостного утреннего сна:

Я спал от печали
Тягостным сном.
Чайки кричали
Над моим окном.
Заря возопила:
— Встречай со мной царя.
Я небеса разбудила,
Разбудила, горя.
И ветер, пылая
Вечной тоской,
Звал меня, пролетая
Над моей рекой.
Но в тяжелой печали
Я безрадостно спал.
О, веселые дали,
Я вас не видал!

Я, впрочем, рад, что Сологуб прилежно читал Верлена. Если я не ошибаюсь, одна из лучших его пьес, «Чертовы качели» <..>, навеяна как раз строфою из «Romances sans paroles»* (t. p. 155):

* «Романсы без слов» (франц.).

O mourir de cette mort seulette
Que s'en vont, cher amour, qui t'épeures
Balançant jeunes et vieilles heures!
O mourir de cette escarpolette!

Сологуб перевел его плохо, а я сам позорно. Не буду и пытаться переводить еще раз это четверостишие. Лучше постараюсь объяснить вам Верленовские стихи в их, так сказать, динамике. Представьте себе фарфоровые севрские часы, и на них выжжено красками, как Горы качают Амура. Горы — молодые, но самые часы старинные. И вот поэт под ритм этого одинокого ухождения часов задумался на одну из своих любимых тем о смерти, т. е., конечно, своей смерти. Мягкомонотонное чередование женских рифм никогда бы, кажется, не кончилось, но эту манию разрешает формула рисунка: «Вот от таких бы качелей умереть».

Чтобы скрыть от нас картину, породившую его стихи, Верлен заинтриговал нас, вместо мифологических Гор поставив слово *часы* с маленькой буквы, и вместо Амура — написав любовь, как чувство.

Не то у Сологуба. Его качели — самые настоящие качели. Это — скрип, это — дерзкое перетирание конопля, это — ситцевая юбка шаром, и — ух ты! Но здесь уже дело не в самом Сологубе, а в свойстве того языка, на котором была когда-то написана и гениальная Пушкинская «Телега».

Вот «Качели» Сологуба в выдержке:

Над верхом темной ели
Хочочет голубой:
— Попался на качели,
Качайся, *черт с тобой*.
В тени косматой ели
Визжат, кружась гурьбой.
— Попался на качели,
Качайся, *черт с тобой* !

Заметьте, ни малейшей грубости, никакой фамильярности даже в этом «*черт с тобой*»; оно лукаво, вот и все.

Ведь качает-то действительно черт. А эти повторяющиеся, эти качальные, эти стонущие рифмы! Нет, Сологуб — не переводчик. Он слишком *сам* в своих, им же самим и созданных превращениях.

А главное — его даже и нельзя *отравить* чужим, потому что он мудро иммунировался.

Проделала эту прививку на свой лад, конечно, ведьма. И проделала жестоко.

— Будут боли, вопли, корчи,
Но не бойся, не умрешь,
Не оставит даже порчи
Изнурительная дрожь
— Встанешь с пола худ и зелен
Под конец другого дня.
В путь пойдешь, который велен
Духом скрытого огня.
— Кое-что умрет, конечно,
У тебя внутри — так что ж?
Что имеешь, ты навечно
Все равно не сбережешь.

Вот каково, может быть, было посвящение Сологуба в пророки.
Исаия, как видите, уж ровно ни при чем!

«Аполлон»,

1909, № 1, октябрь

Из рецензии

«Поль Верлен.

Стихи, выбранные и переведенные Федором Сологубом»

...есть область искусства, которая иногда (правда, редко, случайно и прихотливо), но все же доносит нам наиболее интимные, наиболее драгоценные оттенки голосов тех людей, которых уж нет. Это — ритмическая речь, стих.

Не всякий поэт и не всякий стих обладают этими тайнами голоса. У величайших из мировых поэтов нет этого дара, и самое большее, что можем мы расслышать в их стихах, — это голос драматический и голос музыкальный.

Интимный же живой голос звучит у поэтов, часто несравненно менее гениальных и искусных.

Как определить, что такое интимный голос поэта, звучащий в стихе?

Из каких сочетаний, ритмов, созвучий и напевностей слагается он? Но он есть.

Часто бывает он спутником поэтов наивных и простодушных и всегда поэтов лирических.

Он прихотлив: он не находится ни в какой зависимости от размеров таланта.

Я слышу, например, звуки интимного голоса у Лермонтова, но не слышу их у Пушкина.

Их нет у Тютчева, но есть у Фета и еще больше у Полонского.

Из современных поэтов этим даром в наибольшей степени владеет Блок.

Но есть один поэт, все обаяние которого сосредоточено в его голосе. Быть может, из всех поэтов всех времен стих его обладает

голосом наиболее проникновенным. Мы любим его совсем не за то, что говорит он, и не за то, как он говорит, а за тот неизъяснимый оттенок голоса, который заставляет трепетать наше сердце.

Этот поэт — Поль Верлен.

Этот старый алкоголик, уличный бродяга, кабацкий завсегдатай, грязный циник обладает неотразимо искренним, детски чистым голосом, и мы, не веря ни словам, ни поступкам его, верим только голосу, с безысходным очарованием звучащему в наивных поэмах его.

И вопреки всем обстоятельствам его жизни каждому, кто о нем говорит, неизбежно приходит на уста это слово: ребенок!

«Верлен, — говорит Коппе, — на всю жизнь остался ребенком! Как ребенок, был он беззащитен, и жизнь жестоко и часто ранила его».

«Верлен — варвар, дикарь, ребенок... — говорит Ж. Леметр, — но в душе этого ребенка иногда звучат голоса, которых никто не слышал до него».

«Ребенок! Да!.. Но испорченный ребенок», — наставительно и сурово прибавляет Р. де Гурмон.

И потому, что он всегда оставался ребенком, его голос был самое чистое пламя лирической поэзии, — певучее пламя, которое звучало всеми извилинами его темной и ясной, его сложной и простой души.

«Этого поэта нельзя судить, как человека здравомыслящего, — говорит Анатолий Франс. — У него есть идеи, которых нет у нас, потому что он знает и гораздо больше, чем мы, и несравненно меньше. Он бессознателен, и в то же время он один из тех поэтов, которые приходят не чаще, чем раз в столетие. Вы утверждаете, что он сумасшедший? Я тоже думаю это. Он сумасшедший, вне всякого сомнения. Но осторожнее, потому что этот безумец создал новое искусство, и нет ничего невероятного, если о нем когда-нибудь станут говорить, как говорят теперь о Франсуа Виллоне, с которым он так схож: это был лучший поэт своего времени».

Возможен ли перевод такого поэта на иной язык?

А ригіі я ответил бы: нет, невозможен.

Вообще, установившаяся в русской литературе традиция переводить стихами иноземных поэтов произвольна в основе своей, особенно когда переводится стихами полное собрание сочинений. Такие переводы невозможны, как правило. Перевести чужие стихи несравненно труднее, чем написать свои собственные. К стихотворным переводам нельзя никак предъявлять требования точности. Как читателю разобаться в том, что от поэта, что от его переводчика?

Самое верное разрешение задачи — это то, которое ей дают французы: добросовестный гипсовый слепок в прозе. Он не дает благоуханий цветущего стиха, но он дает точность.

Только чудом перевоплощения стихотворный перевод может быть хорош. Но чуду не стать правилом, и потому только отдельные стихотворения в случайных совпадениях творчества могут осуществить чудо.

Переводы Сологуба из Верлена — это осуществленное чудо.

Ему удалось осуществить то, что казалось невозможным и невысказанным: передать в русском стихе голос Верлена.

С появлением этой небольшой книжки, заключающей в себе тридцать семь переводов, выбранных не по системе, а по капризу любви из различных книг поэта, Верлен становится русским поэтом.

Вот примеры:

В полях кругом,
В тоске безбрежной
Снег ненадежный
Блестит песком.

Как пыль металла,
Лазурь тускла.
Луна блуждала
И умерла.

Или другой — тоже классических стихов Верлена:

Слезы в сердце моем, —
Плачет дождь за окном,
О какая усталость
В бедном сердце моем!

Шуму проливня внемлю, —
Бьет он кровлю и землю,
Много в сердце тоски, —
Пенью проливня внемлю.

Не чувствуется ли в этих строфах, взятых почти случайно, именно того интимного оттенка голоса, который дает Верлену совсем особое положение среди поэтов XIX века? Кажется, сам Верлен заговорил русским стихом, так непринужденно, просто и капризно звучит он. Стихи приведенные повторяют подлинник с точностью буквальную.

Но даже там, где нет ее и не переданы все оттенки подлинника, там нет желания останавливаться и придирается: так это хорошо само по себе, так похоже на Верлена.

Плешивый фавн из темной глины,
Плохой конец благих минут
Вещающая нам, среди куртины
Смеется дерзко, старый плут,

Над тем, что быстрые години
Нас к этим праздникам ведут,
Где так грохочут тамбурины
И где кручины стерегут.

И не странно ли, что в этом новом голосе иноземного поэта, присоединившегося теперь к хорам голосов русской лирики, звучит нечто бесконечно знакомое, близкое, как будто этот голос уже звучал в русском стихе Пушкинской школы? Это признак глубокой ясности и чистоты стиля, найденного Сологубом при этом чудесном перевоплощении.

В этой книге нет ни одного слабого перевода. Но подлиннее других мне показались переводы: «*Nevermore*», «*Grotesques*», «*La Chanson des Ingénues*», «*Marine*»*, «Она прелестна в свете нежном», «Лунный свет», «Слезы в сердце моем», «*Beams*»**, «Я в черные дни не жду пробужденья...».

В предисловии к переводам Верлена Сологуб высказывает ряд мыслей о лирической поэзии, которые, впрочем, еще больше дают ключей к творчеству Сологуба, чем Верлена.

«В поэтическом творчестве, — говорит он, — я различаю два стремления: положительное, ироническое, говорящее миру *да* и этим вскрывающее роковую противоречивость жизни, и отрицательное, лирическое, говорящее данному миру *нет* и этим создающее иной мир, желанный, необходимый и невозможный без конечного преобразования мира. Поэзия Поля Верлена, — конечно, ирония.

Всякий знает лирически нежное имя Дульцинеи Тобозской, прекраснейшей из женщин. Ее прелести затмевают красоту Елены Прекрасной и очарование небесной очаровательницы — Афродиты. Всякая Прекрасная Дама и всякая Невинная Дева — только небесные и земные

* «Никогда вовеки» (англ.), «Посмешища», «Песня наивных», «Моряна» (франц.) — заглавия даются в переводе Сологуба.

** «Сияния» (англ.).

лики Дульцинеи. Но не всякий сразу вспомнит иронически точное, в метрическую книгу занесенное имя Альдонсы, той самой дебелой красоты, которую нашел Санчо-Пансо, посланный в Тобозо к Дульцинее.

Для лирического поэта, как для Дон-Кихота, нет Альдонсы, есть Дульцинея. Для иронического поэта, как для Санчо-Пансо, нет Дульцинеи, — есть Альдонса.

Самый редкий уклон — и это уклон Поля Верлена, — когда принята Альдонса, как подлинная Альдонса и подлинная Дульцинея: каждое ее переживание ощущается в его роковых противоречиях, вся невозможность утверждается как необходимость. В каждом земном и грубом упоении таинственно явлены красота и восторг. Ирония становится мистическою».

Так определяет Сологуб конечное противоречие между голосом и реальной действительностью жизни поэта, написавшего и «*Sagesse*»* и «*Parallèlement*»**.

«Русь»,
1907, 22 декабря

* «Мудрость» (франц.).

** «Параллельно» (франц.).

ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕВОДАМ ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО

Настоящим изданием охватываются все принадлежащие поэту переводы лирических и нескольких эпических стихотворений. Все переводы даются по изданию: *И н н о к е н т и й А н н е н с к и й*, Стихотворения и трагедии; «Библиотека поэта», большая серия, 2-е издание, «Советский писатель», Л., 1959. Часть переводов Анненского первоначально была опубликована в сборнике «Тихие песни» (СПб., 1904), другая часть — в книге *И. А н н е н с к и й*. Посмертные стихи (П., 1923), и несколько переводов было впервые напечатано в издании «Библиотека поэта», 1959.

Переводы располагаются по языкам и переводимым поэтам, а в пределах переводов из одного автора — в соответствии с хронологией его книг и с последовательностью стихотворений в их составе. Что же касается хронологической последовательности работы Анненского над переводами, так же как и над оригинальными стихотворениями, то она, за исключением отдельных случаев датировки в рукописях, еще недостаточно выяснена.

Из французских поэтов

Бодлер, Шарль (1821—1867), поэт-лирик, положивший во французской литературе начало символизму, основатель группы «Проклятых поэтов». Все стихотворения — из его основного поэтического сборника «Цветы зла» (1857).

Леконт де Лиль, Шарль (1818—1894), основатель и глава «парнасской школы», под конец жизни член Французской академии.

Смерть Сигурда — из книги «Варварские стихи» (1862), так же как и следующие пять стихотворений (включая «Из стихотворения «Призраки»»). *Сигурд* — главный герой скандинавского средневекового эпоса, воплощение силы и храбрости; вероломно убит по наущению *Брунгильды* (Брингильды), которая его любила, но мстила ему за то, что он победил ее в единоборстве, явившись к ней под видом короля *Гуннара* и в его доспехах; Гуннар, для которого Сигурд победил Брунгильду, женился на ней, а Сигурд — на сестре Гуннара, *Гудруне*. *Свевы* — древнегерманское племя, позднее швабы. *Франк* — древний германец.

«Над синим мраком ночи длинной...» — перевод первых пяти строф стихотворения «Кристина», состоящего в оригинале из 13 строф.

Дочь эмира Гавриил — по христианским верованиям, один из архангелов, возвещающий волю бога.

«Пускай избитый зверь, влачася на цепочке...» Заглавие подлинника («*Les montreurs*» — «Показчики») опущено. *Макадам* — вид мостовой, получивший распространение в середине XIX в.

Из стихотворения «Призраки». Оригинал состоит из четырех частей, последняя из которых в переводе опущена.

Огненная жертва — из книги «Трагические стихи» (1884), так же как и следующие четыре стихотворения (включая «Майя»). *Примас* — первенствующий (первый), главный архиепископ в католических государствах.

Над умершим поэтом. Перевод стихотворения «Умершему поэту», посвященного памяти Теофиля Готье (1811—1872), романтика, высоко ценимого парнасцами.

М а й я. *Майя* — в индийской мифологии богиня, жена верховного бога Браммы; первопричина и движущая сила мироздания.

«О ты, которая на миг мне воротила...» — из книги «Последние стихотворения» (1895).

Верлен, Поль (1844—1896), поэт-лирик, один из главных представителей символизма во французской литературе; автор книги очерков о близких ему поэтах-современниках под заглавием «Проклятые поэты» (1884), которое и стало названием всей литературной группы.

Сон, с которым я сроднился — из книги «Поэмы сатурналий» (иначе «Сатурнические стихотворения»), 1866, заглавие которой связано с представлениями мудрецов античного мира, считавших людей, родившихся под знаком планеты Сатурн, существами с беспокойной фантазией, неустроенными и несчастными в жизни.

Le rêve familial — вариация на тему того же стихотворения, далекая от подлинника.

Colloque sentimental — из книги «Любезные празднества», 1869.

«Начертания ветхой триоди...» — из книги «Романсы без слов» (1874), так же как и следующие два стихотворения. *Триодь* — церковная книга, состоящая из трехпесенных канонов.

Первое стихотворение — из книги «Мудрость» (1881).

Томление — из книги «Когда-то и недавно» (1885). *Эпоха Апостата* — эпоха императора Юлиана-Отступника (IV в.), отрекшегося от христианства и вернувшегося к античной религии, время упадка римского государства. *Стиль* — здесь орудие письма у древних, металлический грифель, острым концом которого писали на воощеных дощечках.

Преступление любви — из той же книги. *Средь золотых шелков палаты Экбатанской* — имеется в виду город древнего Ирана Экбатаны, где, по преданию, жили волшебники — волхвы. *Ахав* — древнееврейский царь, отличавшийся, по Библии, большой жестокостью.

Вечером — из книги «Любовь» (1888), как и следующие два стихотворения. *И наг, и немощен был некогда Овидий* — имеются в виду последние годы жизни римского поэта Публия Овидия Назона (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.), изгнанного из Рима по приказанию императора Августа и умершего в ссылке на западном побережье Черного моря.

«Я устал и бороться, и жить, и страдать...»
Последняя строфа оригинала опущена.

Impression fausse — из книги «Параллельно» (1889), как и следующее стихотворение.

Прюдом, Сюлли (псевдоним Рене-Франсуа-Армана Прюдома, 1839—1907), принадлежал к «парнасской школе»; значительная часть его лирики и поэм посвящена философским темам.

Посвящение — перевод стихотворения «К читателю», которым открывается собрание стихотворений поэта.

Идеал — из цикла «Стансы» (1865), как и следующие три стихотворения.

Упвонхотте — из цикла «Испытания» (1866), как и следующее стихотворение. *Спиноза*, Барух (1632—1677), — знаменитый философ, материалист и атеист, живший в Голландии. Его философские взгляды и отношение к религии отражены С. Прюдомом произвольно. *Пока гранению им стекла подвергались* — Спиноза изобрел оптический инструмент, имевший научное значение для его времени. *Синедрион* — название высшего судебного органа у древних евреев; здесь относится к амстердамской синагоге, которая в 1653 году предала Спинозу проклятию и изгнала его из еврейской религиозной общины.

«У звезд я спрашивал в ночи...» — из цикла «Одиночество», (1869), как и следующее стихотворение. Незавершенный перевод стихотворения «Млечный путь» (оригинал состоит из 7 строф).

Рембо, Артюр (1854—1891), поэт-символист, яркий представитель группы «проклятых поэтов»; все три перевода — из сборника «Первые стихи» (1870).

Малларме, Стефан (1842—1898), в первом периоде своего творчества примыкал к парнасцам, в дальнейшем — глава младшего поколения французских символистов и теоретик этого направления в поэзии.

Дар поэмы. *Идумея* — в древности название одной из областей Палестины.

Гробница Эдгара Поэ. *Поэ* (Поэ), Эдгар (1809—1849), американский поэт и новеллист, оказавший сильное влияние на развитие символизма. *Что яд философа развел он в алкоголе* — намек на факты из биографии Э. По.

Кро, Шарль (1842—1888), принадлежал к группе артистической богемы, члены которой называли себя «озорниками».

Смычок. *Он на скрипке кременской играет* — итальянский город Кремона славился особым мастерством в изготовлении скрипок.

«*Do, re, mi, fa, sol, la, si, do*» Оригинал озаглавлен «Интерьер».

Роллинá, Морис (1846—1903), представитель младшего поколения французских символистов. Все четыре перевода — из книги «Неврозы» (1889).

Корбьер, Тристан (1845—1875), один из группы «прókлятых».

Д в а П а р и ж а — из книги «Желтая любовь» (1873). *Уносит Диоген фонарь, на крюк надетый* — имеется в виду предание, по которому Диоген (404—323 гг. до н. э.), греческий философ, днем с фонарем «искал человека», то есть человека, достойного называться этим именем.

Жамм, Франсис (1868—1938), — поэт-лирик католического направления и демократический по духу творчества.

«Когда для всех меня не станет меж живыми и...» — из книги «От благовеста утреннего до благовеста вечернего».

Вьеле Гриффбен, Франсис (1864—1937), поэт-лирик, символист.

О с е н ь — из книги «Свет жизни».

Ренье, Анри (1864—1936), поэт-лирик и автор романов, сочетал в своем творчестве художественные принципы «Парнаса» и символизма.

Пр о г у л к а — из книги «Глиняные медали» (1900).

«Прозою полдень был тяжелый напоен...» — перевод отрывка (7—11 строк) из стихотворения «Кому-то грезятся расцвет и тени» из цикла «Как во сне», входящего в книгу «Поэмы» (1897). Указание на этот источник принадлежит Р. Д. Тименчику, которому составитель выражает свою признательность.

Из немецких поэтов

Гёте, Иоганн Вольфганг (1749—1832).

«Над высью горной...» — перевод стихотворения Гёте, ранее переведенного Лермонтовым («Горные вершины»).

Мюллер, Вильгельм (1794—1827), немецкий поэт-романтик.

Ш а р м а н щ и к — из цикла стихов «Зимний путь», послужившего текстом для одноименного музыкального цикла немецкого композитора-романтика Франца Шуберта.

Гейне, Генрих (1797—1856).

I ch g r o ß e n i c h t — из «Книги песен», цикла «Лирическое интермеццо», как и следующее стихотворение.

Д в о й н и к — из той же книги, цикла «Возвращение».

С ч а с т ь е и н е с ч а с т ь е — из 2-й части сборника «Романсеро», которой это стихотворение предпослано в качестве эпиграфа.

Мюллер, Ганс (1882—1933), австрийский поэт и новеллист. В 1904 г. выпустил свою первую книгу стихов «Зовущая скрипка» («*Die lockende Geige*»), откуда Анненским и переведены все четыре стихотворения.

А р е т и н о. *Аретино, Пьетро (1492—1557)*, итальянский писатель, автор сатир и произведений на эротические темы, был известен своей беспринципностью.

Из американских поэтов

Лонгфелло, Генри Уодсворт (1807—1882), выдающийся поэт XIX века.

Из римских поэтов

Гораций, Квинт Флакк (65—8 гг. до н. э.), великий поэт античности, автор од, сатир и посланий (ссылки на номера книг и номера од даны Анненским перед текстом переводов). Переводы Анненского из Горация следуют традиции передачи подлинника привычными размерами русского стиха с рифмой в отличие от традиции безрифменного перевода «размером подлинника».

«К о г д а б и з м е н а к р а с у г у б и л а...» *Аид* — в античной мифологии подземное царство мертвых. *Киприда* — одно из имен богини любви и красоты Афродиты, которая, согласно преданию, возникла из морской пены и впервые ступила на землю острова Кипр.

«А с т е р и я п л а ч е т д а р о м...» *Вифиния* — область в Малой Азии. *Амалфея* — здесь символ изобильной богатой жизни (по имени мифической козы Амалфеи, рог которой стал «рогом изобилия»). *Орик* — город в Иллирии на берегу Адриатического моря. *Нот* — бог сильного южного ветра. *Хлоя* — героиня романа древнегреческого писателя Лонга «Дафнис и Хлоя», образ прекрасной девушки. *Беллерофонт и Пелей* — герои древнегреческих мифов, оба оклеветанные женщинами, которые, влюбившись, не встретили у них взаимности. *Скалы Икара* — скалы, о которые разбился при падении герой мифа Икар, летавший на искусственных крыльях из воска.

«Д а в н о л ь б о й ц а с т р а ш и л и с ь ж е н ы...» *Барбитон* — древнеримский струнный инструмент вроде лиры.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕВОДАМ ФЕДОРА СОЛОГУБА

В основу этой части книги взят как отвечающий требованию последней авторской воли текст издания: *Поль Верлэн. Стихи, избранные и переведенные Федором Сологубом*. Издание второе, исправленное и дополненное. Книгоиздательство «Петроград», П. — М., 1923. Значительная часть переводов была собрана и опубликована до этого в книге: *Поль Верлэн. Стихи, избранные и переведенные Федором Сологубом*, изд-во «Факелы», СПб, 1908 (фактически, конец 1907). В предисловии «От переводчика» ко второму изданию поэт отметил: «Из первого издания здесь перепечатываются без изменения 12 стихотворений, 10 стихотворений печатаются в исправленном виде, для 15 стихотворений даны новые переводы... Вновь переведено 16 стихотворений... Итак, из 53 стихотворений

этой книги 31 печатается первый раз». Варианты, помещенные поэтом в конце книги, составляют 22 стихотворения.

Во втором издании, как и в первом, стихотворения располагаются по сборникам в их хронологической последовательности, а в пределах сборников — в том порядке, в каком они даны там. Последовательность вариантов соответствует порядку основных текстов переводов. В издании «Библиотека поэта» 1975 года переводы из Верлена даны не полностью. Переводом стихов Верлена Сологуб занимался с 1890-х по 1920-е годы, постоянно возвращаясь к работе над теми же стихотворениями.

Из книги «Поэмы сатурналий» [1866]

Н и к о г д а в о в е к и. Заглавие — перевод английского слова «*Nevermore*», которое служит заглавием оригинала и напоминает об известном стихотворении Эдгара По «Ворон», где оно, как рефрен, повторяется в конце ряда строф.

П е с н я н а и в н ы х. *Ришелье* — имеется в виду, вероятно, герцог Луи-Франсуа Арман де Ришелье (1696—1788), маршал Франции, известный своим участием во множестве придворных интриг. *Кавалер Фоблаз* — герой романа Луве де Кувре «Любовные приключения кавалера де Фоблаза», образ красавца-соблазнителя.

С е р е н а д а. *Лета* — в древнегреческой мифологии река забвения в подземном царстве мертвых, ее вода приносила забвение прошлой жизни. *Стикс* — река, обтекающая подземное царство мертвых.

Из книги «Любезные праздники» [1869]

Л у н н ы й с в е т. *Бергамаска* — старинный итальянский танец.

В п е щ е р е. *Гиркания* — в древности название местности по юго-восточному берегу Каспийского моря. *Сципион* — имя двух римских государственных деятелей и полководцев: Публий Корнелий Сципион погиб в сражении (211 г. до н. э.), Публий Эмилиан Сципион (II в. до н. э.) убит в результате заговора (129 г. до н. э.). *Кир* — имя двух персидских полководцев (VI и V вв. до н. э.), которые, согласно преданиям, погибли в сражениях. *Элизийские поляны* — в древнегреческой мифологии поля блаженных в загробном мире (Элизиум).

Из книги «Добрая песня» [1870]

«Зима прошла: лучи в прохладной пляске...» *Флореаль* — один из весенних месяцев по календарю, принятому во время Великой Французской революции XVIII в. (время с 20 апреля по 19 мая).

Из книги «Романсы без слов» [1874]

«Э то — не га восхи щень я...» *Фавар*, Шарль Симон (1716—1792), французский драматург, автор комических опер; песни и куплеты из них пользовались большой популярностью.

Б р ю с с е л ь. Простые фрески. «Вижу даль аллей». *Роје* (Руайе) *Колар*, Пьер Поль (1763—1845), французский политический деятель, философ-позитивист; здесь — образ государственного мужа.

М у р а в а. Оригинал озаглавлен по-английски: *Green* (букв.: зелень).

У л и ц ы. Оригинал озаглавлен по-английски: *Streets*.

«С т а н ц у е м д ж и г у! » *Джигга* — английский народный танец, быстрый по темпу.

Б е д н ы й м о л о д о й п а с т у х. Оригинал озаглавлен по-английски: *A poor young shepherd*. *Валентинов день* — в Англии старинный праздник молодежи (14 февраля), когда юноша выбирает себе девушку, которая в течение года будет его Валентиной.

С и я н и я. Оригинал озаглавлен по-английски: *Beams*.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЯМ

И н н о к е н т и й А н н е н с к и й. Из рецензии «Разбор стихотворного перевода лирических стихотворений Горация П. Ф. Порфирова».

Вакхилид (V в. до н. э.) — древнегреческий лирик.

Тибулл (ок. 54—19 до н. э.) — римский поэт-элегик.

Архилох (VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт, лирик и сатирик.

Алкей (VI в. до н. э.) — древнегреческий лирик.

Бентли Ричард (1662—1742) — английский филолог-классик.

Пеерлькамп Гофман Питер (1786—1865) — голландский филолог-классик, комментатор Горация.

Шютц Кристиан Готлиб (1742—1832) — немецкий филолог-классик.

Виламовиц Мёллондорф Ульрих (1848—1931) — немецкий филолог-классик, переводчик древнегреческих трагедий, теоретик перевода, считавший необходимым передавать стихотворные размеры оригинала соответствующими им не формально, а эмоционально размерами немецкого стиха и сам делавший опыты такого рода.

И н н о к е н т и й А н н е н с к и й. Из статьи «О современном лиризме»

O mourir de cette mort seulette... Цитируемые стихи — последняя (3-я) строфа стихотворения Верлена, переведенного Анненским («Начертания ветхой триоди...») и Сологубом («Я угадываю сквозь шептанья...»).

Горы (иначе — Оры) — в античной мифологии богини времени и порядка.

М а к с и м и л и а н В о л о ш и н. Из рецензии «Поль Верлен.

Стихи, выбранные и переведенные Федором Сологубом»

Коппе Франсуа (1842—1908) — французский писатель — лирик, драматург и новеллист, автор предисловия к собранию стихотворений Верлена.

Леметр Жюль (1853—1914) — французский литературный и театральный критик и драматург.

Гурмон Реми де (1858—1915) — французский критик-модернист и автор романов.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Федоров. Два поэта</i>	5
--	---

Биенье тревожное жизни

Стихи зарубежных поэтов в переводе
Иннокентия Анненского

Из французских поэтов

Шарль Бодлер

Искупление	21
Привидение	22
Совы	22
Погребение проклятого поэта	23
Старый колокол	23
Сплин	24
Слепые	25

Леконт де Лиль

Смерть Сигурда	26
«Над синим мраком ночи длинной...»	29
Дочь эмира	30
«Пускай избитый зверь, влачась на цепочке...»	33

Последнее воспоминание	33
Из стихотворения «Призраки»	34
Огненная жертва	36
Явление божества	38
Негибнувший аромат	39
Над умершим поэтом	40
Майя	40
«О ты, которая на миг мне воротила...»	41

Поль Верлен

Сон, с которым я сроднился	42
Le rêve familial	42
Colloque sentimental	43
«Начертания ветхой триоди...»	44
Песня без слов	44
«Я долго был безумен и печален...»	45
Первое стихотворение сборника "Sagesse"	45
Томление	46
Преступление любви	47
Вечером	50
«Я устал и бороться, и жить, и страдать...»	51
Я — маниак любви	51
Impression fausse	53
Каприз	54

Сюлли Прюдом

Посвящение	56
Идеал	57
«С подругой бледною разлуки...»	57
Когда б я богом стал...	58
Тени	58
Un Bonhomme	59
Сомнение	59
«У звезд я спрашивал в ночи...»	60
Агония	60

Артюр Рембо

Впечатление	63
Богема («Не властен более подошвы истоптать...»)	63
Феи расчесанных голов	64

Стефан Малларме

Дар поэмы	65
Гробница Эдгара Поэ	65

Шарль Кро

Сушеная селедка	67
Смычок	68
“Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.”	69

Морис Роллинá

Богема («Последний мой приют — сей пошлый макадам...»)	71
Библиотека	71
Безмолвие	72
Приятель	72

Тристан Корбьер

Два Парижа	74
----------------------	----

Франсис Жамм

«Когда для всех меня не станет меж живыми...»	76
---	----

ВьелеГриффен

Осень	77
-----------------	----

Анри де Ренье

Прогулка	79
«Грозою полдень был тяжелый напоён...»	79

Из немецких поэтов

Иоганн Вольфганг Гёте

«Над высью горной...»	81
---------------------------------	----

Вильгельм Мюллер

Шарманщик	82
---------------------	----

Генрих Гейне

Ich grolle nicht	83
Мне снилась царевна	83
«О страсти беседует чинно...»	84
Двойник	84
Счастье и несчастье	85

Ганс Мюллер

Мать говорит	86
Аретино	87
Говорит старая черешня	87
Раскаяние у Цирцеи	88

Из американских поэтов

Генри Лонгфелло

Дня нет уж...	90
-------------------------	----

Из римских поэтов

Гораций

(Од. II, 8)	92
(Од. III, 7)	93
(Од. III., 26)	94

Избранная даль

Стихи Поля Верлена в переводе

Федора Сологуба

Из книги «Поэмы сатурналий»

Никогда вовеки	97
Женщине	97
Тоска	98
Моряна	99
Посмешища	99
Осенняя песня	101
Песня наивных	101
Серенада	103
В лесах	104

Из книги «Любезные праздники»

Лунный свет	105
На траве	105
В пещере	106
Фавн	106
Письмо	107

Из книги «Добрая песня

«На солнце утреннем пшеница золотая...»	109
«Все прелести и все извивы...»	109

«Пока еще ты не ушла...»	110
«Ночной луною...»	111
«Песня, улетай скорее...»	112
«Вчера среди ничтожных разговоров...»	112
«Очаг, и тесное под лампою мерцанье...»	113
«Почти боюсь, — так сплетена...»	113
«Так, солнце, общник радости моей...»	114
«Зима прошла: лучи в прохладной пляске...»	115

Из книги «Романсы без слов»

«Это — нега восхищенья...»	116
«Я угадываю сквозь шептанья...»	117
«В слезах моя душа...»	117
«Знайте, надо миру даровать прощенье...»	118
«В полях кругом...»	118
«Деревьев тень в реке упала в мрак туманный...»	119
Брюссель. Простые фрески	119
Мурава	121
Сплин	121
Улицы	122
Ребенок-женщина	123
Бедный молодой пастух	124
Сияния	125

Из книги «Мудрость»

«Меня в тиши Беда, злой рыцарь в маске, встретил...»	126
«И красота, и слабость женщин, их печали...»	127
«Послушай нежной песни лепет...»	127
«Как нежно вы меня ласкали...»	128
«Сын громадных поселений...»	129
«Я в черные дни...»	130
«Над кровлей небо лишь одно...»	130

Из книги «Когда-то и недавно»

Калейдоскоп	132
Пьеро	133
«О, что в душе моей поет...»	133

Из книги «Песни для нее»

«Вот осень наступила...»	135
«Я не имею...»	135
«Не надо ни добра, ни злости...»	136
«Я не люблю тебя одетой...»	137

Варианты

Лунный свет	138
Ночной луною	138
Песня, улетай скорее	139
Очаг, и тесное под лампою мерцанье	140
Так, солнце, общник радости моей	140
Зима прошла	140
Я угадываю сквозь шептанья	141
В слезах моя душа	142
2 вариант («На сердце слезы упали...»)	142
Знайте, надо миру даровать прощенье	143
2 вариант («Научися, мой друг, забывать и прощать...»)	143
Деревьев тень в реке упала в мрак туманный	144
2 вариант («Тени ив погасли за туманною рекою...»)	144
3 вариант («С реки туман встает как дым...»)	145
Простые фрески	145
2 вариант («В зелено-алой дали...»)	145
Мурава	146
Сплин	146
Улицы («Ну-тка, спляшем джигу.»)	147
Над кровлей небо лишь одно	148
2 вариант («Синева небес над кровлей...»)	148
Не надо ни добра, ни злости	149

Анненский И., Сологуб Ф. Созвучия

Русские поэты Иннокентий Анненский и Федор Сологуб были крупными мастерами стихотворного перевода. В настоящий сборник вошли переведенные ими шедевры зарубежной, в основном западноевропейской поэзии XIX века: стихи П. Верлена, А. Рембо, Леконт де Лиля, М. Роллинá, И.-В. Гёте, Г. Гейне и других.

И. АННЕНСКИЙ, Ф. СОЛОГУБ
Созвучия

Составитель Андрей Венедиктович Федоров

ИБ 3542

Художественный редактор А. П. Купцов
Технический редактор Н. А. Максимова
Корректор С. А. Галкина

Сдано в набор 15.02.78. Подписано в печать 28.08.78.
Формат 70×100¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура таймс.
Печать офсетная. Условн. печ. л. 7,41. Уч.-изд. л. 5,92.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 304. Цена 75 коп. Изд.
№ 13078

Текст набран на фотонаборных машинах

Издательство «Прогресс» Государственного комитета
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. Москва, 119021, Зубовский бульвар, 17

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли 150014,
Ярославль, ул. Свободы, 97

75 коп.

Иннокентий Анненский (1856—1909) — выдающийся лирик и переводчик зарубежной поэзии. Трагедии Еврипида, оды Горация, стихи Гёте и Гейне, Лонгфелло, Леконт де Лиля и Бодлера, Рембо и Верлена — таков неполный круг переведенного им. Несмотря на все разнообразие представленных имен, переводы Анненского тесно связаны с его собственным творчеством. Многозначность поэтического содержания сочетается в них с чистотой стиховых форм. Не обладая буквальной точностью, переводы Анненского хранят внутреннюю верность оригиналу. Они стали замечательным явлением русской культуры начала века.

Федор Сологуб (1863—1927) — видный русский поэт-символист и мастер стихотворного перевода. Его поэтический дар ценил М. Горький, а переводы стихов Верлена получили высокую оценку современников — В. Брюсова, И. Анненского, М. Волошина. Перевод часто давал Сологубу возможность выйти из круга трагических мотивов собственного творчества в мир более светлый, гармоничный и многоликий. Ища всесторонней близости к подлиннику, Сологуб иногда создавал ряд его русских вариантов. Все они — поучительный пример переводческой работы.

